

ДЕДУШКА, GRAND-PÈRE, GRANDFATHER

—•—•—•—•—•—
Воспоминания внуков и внучек
о дедушках, знаменитых и не очень,
с винтажными фотографиями
XIX-XX веков



Проект «Семейные архивы»

**Дедушка, Grand-père, Grandfather...
Воспоминания внуков и внучек
о дедушках, знаменитых
и не очень, с винтажными
фотографиями XIX – XX веков**

«Этерна»

Дедушка, Grand-père, Grandfather... Воспоминания внуков и внучек о дедушках, знаменитых и не очень, с винтажными фотографиями XIX – XX веков / «Этерна», — (Проект «Семейные архивы»)

ISBN 978-5-480-00265-2

Герои этой книги – дедушки. Благодарные внуки с любовью рассказывают о тех, кто подарил им «частичку своего сердца», несмотря на трудную жизнь или гибель в годы войны и репрессий. «Великая радость» – быть достойными памяти своих дедов.

ISBN 978-5-480-00265-2

© Этерна

Содержание

Предисловие	5
Андрей Зенков	7
В. А. Потресов	29
Конец ознакомительного фрагмента.	66

Елена Владимировна Лаврентьева **Дедушка, Grand-père, Grandfather...** **Воспоминания внуков и внучек о** **дедушках, знаменитых и не очень, с** **винтажными фотографиями XIX–XX веков**

Предисловие

«...И эту божественную радость никто не отнимет»

Честно говоря, идея этой книги принадлежит не мне, а издательству «Этерна», воодушевленному успехом книги «Бабушка, Grand-mère, Grandmother...». По сей день в редакцию издательства звонят благодарные читатели с вопросом: «А будет ли книга про дедушек?»

Собрать интересные воспоминания и материалы о дедушках оказалось не так просто. У многих моих друзей и знакомых дедушки были убиты на полях сражений, другие погибли в сталинских застенках. И тем не менее...



Из коллекции В. О. Штульмана

Моя замечательная приятельница Светлана Андреевна Долгополова, проработавшая двадцать семь лет главным хранителем в музее-усадьбе Мураново, называет это явление «профессиональной благодатью». Лучше не скажешь! Действительно, стоит только погрузиться в какую-то тему – как на тебя, будто из рога изобилия, начинают сыпаться необходимые знания, нужные книги, интересные собеседники, невероятные факты, совпадения, маршруты...

Так случилось со мной и в этот раз. Благодарю всех, кто откликнулся, кто согласился поделиться сокровенным, кто предоставил семейные архивы и альбомы, кто познакомил меня с внуками, достойными памяти своих дедов!

О моем дедушке я расскажу ниже, а сейчас приведу письмо неизвестного деда к внучке, датированное 1916 г., которое я когда-то нашла на блошином рынке в Измайлове:

«Уважаемая раба Божия Татьяна! Поздравляю тебя с днем Ангела. Желаю от Господа Бога здоровья и благополучия на многие годы сей жизни: с тем чтобы, проводя настоящую жизнь в бушующем море всевозможных скорбей и печалей, в волнах его, с Божью помощью, в терпении и смирении плыть к тихой пристани и, дай Бог, доплыть по его мудрому промыслу до момента определенного срока и возрадоваться великою радостью, где уже не будет печалей, скорбей и горьких вздыханий, по слову Господа нашего Иисуса Христа, а будет жизнь вечная, блаженная, радостная, и эту божественную радость никто не отнимет. Прославляй Творца день и ночь вовек!
Твой дед. 1916 г.»

Пусть и у нас, на земле, никто не отнимет «эту божественная радость» – память сердца!

Елена Лаврентьева

Андрей Зенков

Человек, остановивший мгновения

Как прекрасно, когда маленький ребенок тянет за палец седоволосого старца и пищит: «Деда, дед!..» В этой умильной сцене весь смысл жизни, говорим мы, тут и преемственность поколений, и передача опыта, и семейная идиллия...

И как страшно, когда понимаешь: это покрытое морщинами лицо когда-то было (и до сих пор осталось) лицом такого же ребенка, только время исказило его черты! Господи, шепчем мы, не дай мне дожить до глубокой и беспомощной старости! Когда краски жизни тускнеют, душевные порывы уступают место примитивным физиологическим потребностям и на смену острому интересу к миру приходит тупое равнодушие.

Счастлив тот, кто вопреки этой жестокой логике сохранил вкус к жизни, не замутированное грузом лет восприятие действительности! Кто на склоне лет не согнулся, не стал в душе *стариком*, но и не впал в детство, а остался мужчиной.

Таким был мой деда Вася, один из основателей нового направления в фотографии – художественного фотопортрета, – профессиональный фотограф Василий Алексеевич Малышев.



Василий Алексеевич Малышев

Хорошая квартира

Мир деда Васи в моих глазах был миром «техногенного будущего». Учась в пятом классе, я еще не знал точно, что такое «техногенное будущее», но, входя в огромную (по меркам стандартных «хрущоб») квартиру на Кутузовском проспекте, понимал – это оно и есть! Треноги, высотой в полтора человеческих роста, с выдвигающимися рукоятками, какими-то поворотными кругами и механизмами для присоединения камер. Мощные штативы и софиты, огромные стеллажи с книгами и еще более огромные экраны для постановочного света. Немыслимые фотоаппараты, в которые надо смотреть сверху, в раскрывающиеся металлическими лепестками окошечки. Невероятные по мощности осветительные приборы-«вспышки» в виде метровых сачков для ловли бабочек. Только «сачки» эти были весом в полкило и по часу заряжались электричеством, стоя на особых подставках... Все это заполняло квартиру в буквальном смысле от пола до потолка. Однажды я улучил момент, когда деда не было в комнате, снял

лампу и нажал на красную кнопку на рукоятке. Убийственная белая вспышка саданула в стоявшее напротив зеркало и отраженным светом ударила меня по глазам. Я ослеп. Не более чем на полминуты, но это навсегда отучило меня нажимать без надобности на красные кнопки и вообще запускать незнакомые механизмы.

В те годы фотография была еще пленочная, в студиях не хватало места, и *картины* (так все называли фотоработы деда) тоже висели и стояли тут же, вдоль стен, пестрым цветным ковром, заменяя обои. Некоторые из них достигали двух-трех квадратных метров, другие были совсем маленькими. И все – исключительно портреты. Ни одного пейзажа или жанровой сцены. Только люди. Их внимательные, строгие, лукавые глаза сопровождали меня повсюду, от них некуда было скрыться, и, насколько помню, именно им я обязан тем, что, гостя у деда, избавился от дурной привычки ковыряния в носу. Молодые и старые, улыбающиеся и сосредоточенные, в деловых костюмах и спортивной форме, в бальных платьях и рабочих спецовках, мужчины, женщины, дети... На одной стене висела фотография, на которую я при взрослых изо всех сил старался не смотреть, но изучил до мельчайших подробностей. Обнаженная девушка кокетливо покусывает тонкий указательный палец правой руки, левая заведена за спину. Смещение розовых тонов на бледно-лимонном фоне создавало, как я понял десятилетия спустя, ощущение свежести, чистоты, даже какой-то детскости. Особенно красноватая «гармошка» следа от трусиков чуть пониже пупка... Напомню, тогда, в начале 1970-х, в стране не только «не было секса» или эротики, но сама постановка вопроса таила угрозу карьерных неприятностей. Ни на одной выставке, ни в одном альбоме эта картина, само собой, никогда не появлялась. Но дом деда был его крепостью, точнее, его фотостудией, где он, подобно булгаковскому Филиппу Филипповичу, мог делать все, что ему заблагорассудится.

Как известно, советская власть не признавала авторитета денег. Когда в середине 1970-х годов во время очередного визита в Москву президент Финляндии Урхо Кекконен захотел приобрести понравившуюся ему картину деда «Москвичка» (цветную фотографию лаборантки Марины Пахоменко) за 1000 долларов – руководство АПН просто подарило ему эту работу, даже не поставив в известность самого автора.



Галина Уланова, 1955

Но авторитет *блата* был общепризнан. Применительно к творческим людям это можно назвать мягче – авторитетом связей, знакомств. За шесть с лишним десятилетий активной работы фотожурналистом и фотопортретистом дед снял многие сотни известнейших людей, десятки знаменитостей: Алексей Толстой и Надежда Обухова, Галина Уланова и Петр Капица, Викентий Вересаев и Георгий Жуков, Юрий Гагарин и патриарх Пимен, Фидель Кастро и Гарри Каспаров... Я беру имена из каталогов выставок, наугад, и список стремительно разрастается: политики и художники, военные и артисты, жены министров и дети членов политбюро... При этом большинство из них снимались тут же, в квартире-студии, где дед жил со второй женой, молодой певицей театра Станиславского Людмилой Бондаренко. Видели там прекрасный творческий беспорядок, так мало вяжущийся с растиражированным обликом советского журналиста, и воспринимали его «с пониманием». (Была у деда еще и коллекция импортных винных бутылок, и коллекция музыкальных брелков, и два говорящих попугая, и английский сеттер, и сотни памятных подарков от зарубежных друзей и коллег, а после очередного юбилея в квартире установилось правило: любой вошедший мог взять фломастер и на свободном клочке обоев написать приветственную реплику или эпиграмму хозяину.)

Но дед не злоупотреблял личными знакомствами в корыстных интересах. Насколько я знаю, «высокими» связями он по-настоящему воспользовался лишь дважды. В первый раз, когда пришлось придумать *правильный* предлог, чтобы НЕ вступить в партию (и при этом остаться выездным и вообще не вылететь с работы). Во второй – когда надо было отмазать меня от почетной обязанности после окончания Пединститута выполнять воинский офицерский долг, в то время как мать с отцом лежали в больнице и мне приходилось их навещать. Не знаю, кто из генералов и маршалов на какие рычаги нажимал и какие телефонные «вертушки» напрягал, но я – единственный со всего потока – так и не отслужил в рядах СА, а дед – единственный из штатных сотрудников АПН – так и не стал коммунистом. Впрочем, был еще один комичный случай, который мы шутя называли «непреднамеренным использованием говорящей фамилии в дорожно-транспортном происшествии».



Патриарх Пимен, 1980

Однажды, еще в 1950-х, дед возвращался со съемок поздно вечером, усталый и голодный. И где-то в Центре по ошибке свернул на улицу с односторонним движением. Его оста-

новил сотрудник ГАИ (судя по всему, такой же усталый и голодный) и злобно предупредил, что сейчас заберет права. Но тут – по словам деда – произошло чудо. Гаишник взглянул на предъявленный документ Малышева В. А. и, взяв под козырек, отчеканил:

– Не извольте беспокоиться... проезжайте!

«Неужели я стал настолько знаменит? – думал дед, торопливо выворачивая на правильную дорогу. – Вот так загадка...»

Пару дней спустя ее разгадали дошлые журналисты АПН, выяснив, что на этой злополучной улочке жил в своей казенной квартире тогдашний зам. пред. Совмина Малышев *Вячеслав Александрович*.

– Вам, Василий Алексеевич, повезло, что на «корочке» имя и отчество значатся лишь первыми буквами, – улыбались коллеги, – теперь при встрече с милицией старайтесь ее пореже раскрывать...

Сначала снимать, потом – стрелять

Между тем в жизни деда Васи бывали моменты, когда проверка документов могла закончиться лишением не автомобильных прав, а самой жизни.

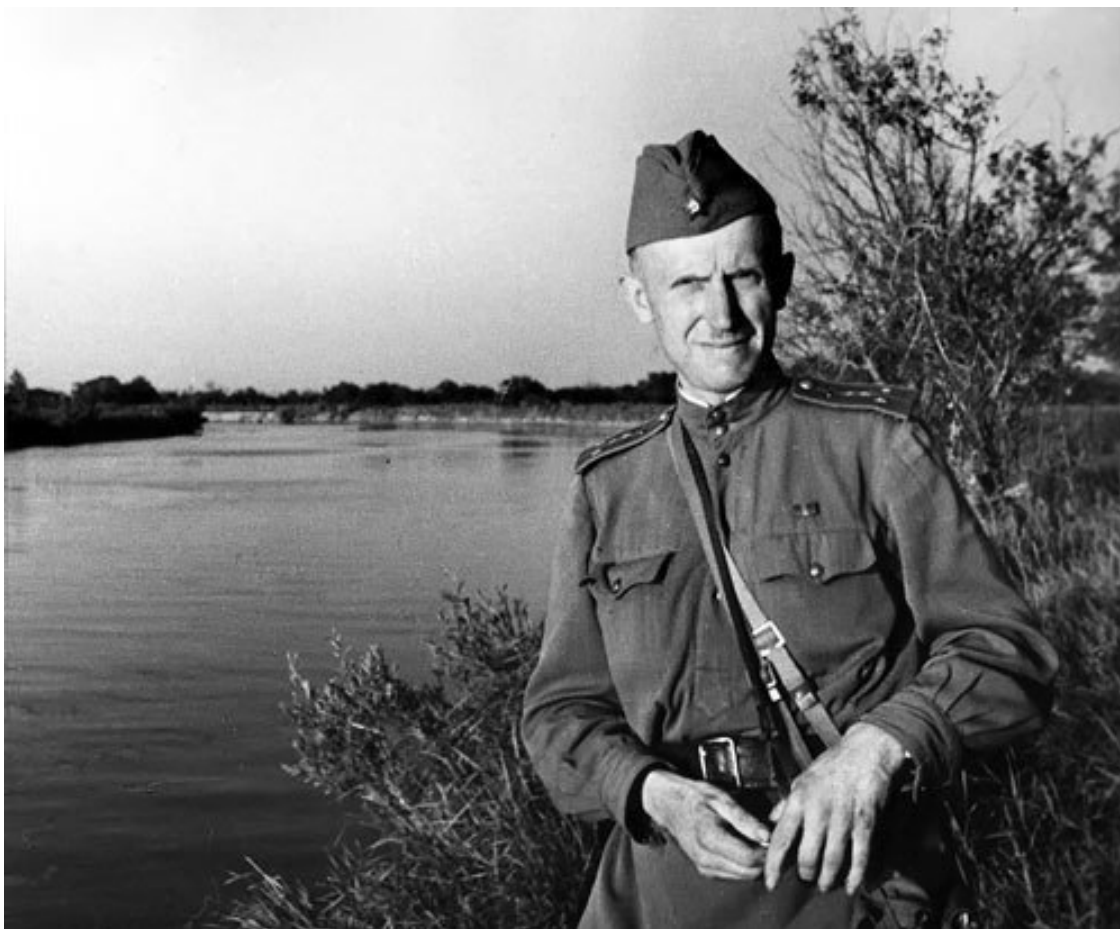
Например, когда в страшной неразберихе Гражданской войны восемнадцатилетний Вася Малышев в составе 1-го артиллерийского дивизиона сражался на Южном фронте с войсками генерала Деникина. На Дону брали верх то белые, то красные. Железнодорожные станции, села, хутора то и дело переходили из рук в руки. Это только в кино у всех красноармейцев на головах буденовки, а у всех белогвардейцев на плечах – золотые погоны. Чтоб зритель различал. Тогда, в 1918-м, отличить «своего» от «чужого» удавалось не сразу, порой лишь по реакции на проверку документов. Наслушавшись дедовских рассказов, я представлял себе это примерно так: двое в пыльных картузах (ватниках) идут по дороге, на степном перекрестке их останавливают двое в таких же запыленных картузах (ватниках) и спрашивают документы. А дальше – либо объятия («Ты как сам, браток?!»), либо – кто первый сдернет с плеча ружье...

Или четверть века спустя, когда военный корреспондент Фотохроники ТАСС Василий Малышев вместе с наступающими частями 3-го Украинского фронта участвовал в освобождении Одессы. Стратегически важный пригород Пересыпь, известный как «ключ к Одессе», стал местом ожесточенных сражений. Получив задание подготовить очередной фотоматериал, Василий Малышев и его тезка и коллега Василий Иванов так увлеклись, что в какой-то момент опередили основные подразделения и оказались в цепи штурмового отряда, атакующего Пересыпь.



В. А. Малышев, 1943

– Десантнику проще, – шутил дед, вспоминая тот эпизод. – У него в руках только автомат. И он знает, что стрелять из этого автомата – его работа. А когда мы с Васей выскочили из машины и побежали вместе с десантом, у нас кроме автоматов в руках были «лейки» (фотокамеры). Можно сказать и иначе: *кроме* фотокамер были *еще* и автоматы. И в чем заключалась наша работа, мы знали совершенно четко: сначала снимать, а потом – стрелять. И снимали, хотя пули ложились и под ноги, и свистели над ухом, и больше всего хотелось отшвырнуть «лейку» и начать строчить из автомата по засевшим за сараями фашистам.



На берегу Днестра, 1943

Они не бросили свои камеры. И отсняли все, как бы мы сейчас сказали, «профессионально», в том числе и разъяренного генерал-лейтенанта В. Цветаева, патрулировавшего только что освобожденные районы.

– Ваши документы!.. Вы что, молодые люди, с ума сошли?! Бой идет, а вы с вашими «лейками» лезете впереди передовых частей! – процитировал слова генерала дед в своих мемуарах, опубликованных в 1985 году.

– Что-то уж больно красиво он сказал, – засомневался я, прочитав книгу и обсуждая ее с дедом. – Может, фамилия обязывает?

– Если бы ты слышал, ЧТО он нам проорал сквозь близкие еще автоматные очереди и разрывы гранат, – усмехнулся дед. – Но потом понял, что его ребята выполняли свою работу, а мы – свою. И даже помог довести дело до конца – нашел место в самолете, чтобы срочно доставить негативы в штаб фронта.

И еще как минимум дважды жизнь деда висела на волоске. И уже никак не зависела ни от каких документов и удостоверений.

– Сначала во время «моей первой поездки в Румынию», – шутил деда Вася. – В 1944-м я получил очередное задание – сфотографировать состояние взлетнопосадочной полосы аэропорта городка Галаци, куда должны были садиться наши транспортные самолеты. На небольшом, но мощном штурмовике Ил-2 мы вдвоем с пилотом благополучно пересекли государственную границу, приземлились в Румынии, отсняли что надо... Но на обратном пути нас сначала накрыли огнем немецкие зенитки, а потом атаковали немецкие истребители. Вот тут у меня выбора не было: по команде пилота я развернул турельный пулемет в хвостовой части и открыл огонь.

– И попал?!

– Не знаю... я ведь никогда до этого из пулемета не стрелял, тем более в воздухе. Помню только, что пилот выжал максимальную скорость (около 550 км в час), нырнул за одно облако, потом за второе, и нам удалось оторваться. А когда приземлились, насчитали пять или шесть пробоин, в том числе в баке с горючим!



Перед вылетом в Румынию, 1943. П. А. Малышев – слева

После войны, начиная с середины 1960-х, дед много раз бывал в зарубежных командировках, и не только в Европе, но и в Африке. И вот где-то то ли в Йемене, то ли в Алжире его импозантная внешность и дорогая фотокамера привлекли внимание припортовых аборигенов. В те годы Африку лихорадило. Одни европейцы уходили, теснимые народно-революционными армиями изголодавшихся по власти местных царьков. Им на смену спешили новые, часто просоветские «команды», для них СССР был как «большой брат», который если не вступится в открытую, так уж точно погрозит пудовым кулаком. Но деда приняли сначала за француза, а потом, когда он попытался объясниться на ломаном английском, – за американца. Ни те, ни другие в этой точке земного шара популярны не были.



Автопортрет, 1967

– Меня окружила агрессивно настроенная толпа, человек в тридцать, – вспоминал деда Вася. – Они что-то кричали на своем родном языке, махали кулаками, и кое-кто уже нагibalся за камнем. Момент был критический. Я знал, что, пока не брошен первый камень, библейское чувство справедливости сдерживает любую толпу. Но сразу после первого броска толпа неуправляема. Меня просто растерзают, прикончат за минуту, и никакая полиция не поспеет.

Дед был человек интеллигентный. Общение с артистами, учеными и высокопоставленными политиками разных стран привило ему даже некие аристократические манеры. Плавные, всегда спокойные жесты белых, холеных рук, глубокий, вдумчивый взгляд, мягкий и негромкий голос... Ни разу не видел я деда разгневанным, тем более грубым. Но в тот момент, по его словам, он вспомнил и погромы Гражданской, и бои Великой Отечественной, вспомнил десять лет, проведенных на приполярном Севере в составе Якутской экспедиции Комитета Севера ВЦИКа, когда он бок о бок работал с людьми грубыми, часто с уголовным прошлым. Вспомнил – и послал пораженных аборигенов отборным четырнадцатизэтажным матом!

– Первым меня понял какой-то толстый мавр, эдакий Отелло, по сравнению с которым я действительно ощущал себя беспомощной Дездемоной! – смеялся дед, а мне, уже подростку, было совсем не до смеха. – Помню, он закричал что-то вроде «Русико!.. русика!..» или что-то в этом роде, и несколько человек подхватили это магическое слово. Меня отпустили, похлопали по плечу и даже указали дорогу к отелю. Все-таки наша брань не менее надежна, чем наша

броня, – привез он в Москву новый каламбур, который был некоторое время популярен в тогдашних журналистских кругах.

Это осталось за кадром

Студийная, станковая фотография с тщательно подобранными красками и тонко проработанным световым фоном – это фирменный конек Василия Алексеевича Малышева. Заслуженного работника культуры РСФСР, лауреата золотой медали и премии Союза журналистов СССР, кавалера многих боевых и почетных орденов и медалей. Это сейчас обработать (а чаще – исказить) цифровую фотографию может любой пользователь компьютерной программы Photoshop. А тогда, в начале 1970-х, фотопортретистов часто упрекали в подражательстве живописцам. Всемирный авторитет французского фотодокументалиста Анри Картье-Брессона, отрицавшего кадрирование при печати и провозгласившего принцип «абсолютной достоверности жизненного факта», был признан и в советской фотожурналистике. Малышев встречался с Анри Брессоном и даже обсуждал с ним право фотографа на собственный творческий метод. Себя же дед всегда считал учеником Моисея Наппельбаума и Николая Свищова-Паолы.

– Объективное изображение внутреннего мира человека через собственное субъективное восприятие, – толковывал мне дед. Но это было для меня еще слишком сложно.

И тогда дед начинал рассказывать. Нет, он не откровенничал, не выдавал «подсмотренные через объектив» тайны чужой жизни. Скорее он учил меня, опосредованно, подспудно, умению чувствовать другого человека.

– Я спускаю затвор в тот момент, когда понимаю, что почувствовал объект съемки, – говорил дед. – Иногда это происходит почти мгновенно, чаще приходится ждать, настраивать человека или, наоборот, отвлекать, избавлять от скованности.



Я с дедом, Москва, 1969

– Виктор Шкловский, когда я приехал к нему на квартиру для съемок, с самого начала был напряжен, неосознанно пытался позировать, принимать нарочитые позы, ждал щелчка затвора... И тогда я сделал вид, что в аппаратуре что-то разладилось. «Одну минуточку, извините, Виктор Борисович, – бормотал я, бессмысленно вращая регулировку диафрагмы на своем

«хассельблате». – Камера эта сложная, в ней много всего... для писателей непонятного. Ввести в заблуждение было нетрудно. Вращаю, а краем глаза вижу: расслабился Шкловский, дух перевел. И вдруг уселся в кресло, в самой что ни на есть удобной позе! Видимо, он часто так садился. Я тут же спустил затвор. Но штука в том, что почти все мои портреты до этого выполнялись в вертикальной композиции. А тут – понятно, что придется делать горизонтальный кадр.

– И как же ты, деда, вышел из положения? Лег на бок?

– Да нет, так и снимал его, как он сидел. Получилось очень неплохо. И между прочим, многие писатели, которых я снимал, лучше смотрелись именно в горизонтальной плоскости. Толстой за своим рабочим столом под лампой-канделябром, Вересаев на фоне книжных полок, Антокольский с книгами и статуэткой фавна...

– Ты всегда снимаешь один на один со своим объектом? – спросил я. – Это действительно священнодействие, без посторонних?

– Как правило, один. Но на периферии помещения могут находиться помощники, которые отвечают за фоновый свет. Их не видно, но без них работа может и не получиться. Ну а порой приходится специально нарушать тет-а-тет, все с той же целью: раскрыть образ моего персонажа.

И дед рассказал еще две истории. Знаменитый актер и режиссер Михаил Яншин, всегда веселый и общительный по жизни, в момент съемки ступшевался: напрягся, стал готовиться, поправлять галстук, в общем, на глазах превращался из творческой личности в официального театрального деятеля. Не таким видел и ощущал его мой дед, хорошо знавший Яншина и до этого. Обмануть артиста, много и часто снимавшегося в кино, при помощи трюка с аппаратурой невозможно. И дед нарушает свое правило и как бы невзначай приглашает в комнату свою молодую жену.

– Семидесятидвухлетний Яншин вострепнулся, заулыбался, приосанился. А когда узнал, что Ляля – артистка Музыкального театра имени Станиславского, и вовсе расцвел. Они заговорили о ролях, о режиссерах, о гастролях... Яншин снова стал самим собой. Мне оставалось лишь начать снимать.



Михаил Яншин, 1974

Прямо противоположная ситуация сложилась на съемках ученого-физика Дмитрия Блохинцева, приехавшего к деду вместе со своей супругой. Энергичный, высокий, загорелый, в спортивной куртке, выдающийся советский ядерщик, казалось, был весь как на ладони. Он засыпал деда рассказами о своих многочисленных хобби, заграничных поездках, даже читал свои стихи.

– Казалось, можно начинать снимать. Но каким-то шестым чувством я угадывал за всем этим не то чтобы браваду, но недоговоренность. В душе этого, как принято говорить, «социально активного» человека таилось что-то глубоко личное, какие-то иные чувства, в которые он не собирался меня посвящать. Время шло... Он непринужденно болтал, я поддерживал тон, но все еще выжидал.

И тут в студию заглянула жена Блохинцева, видимо, поинтересоваться, скоро ли мужчины «освободятся».

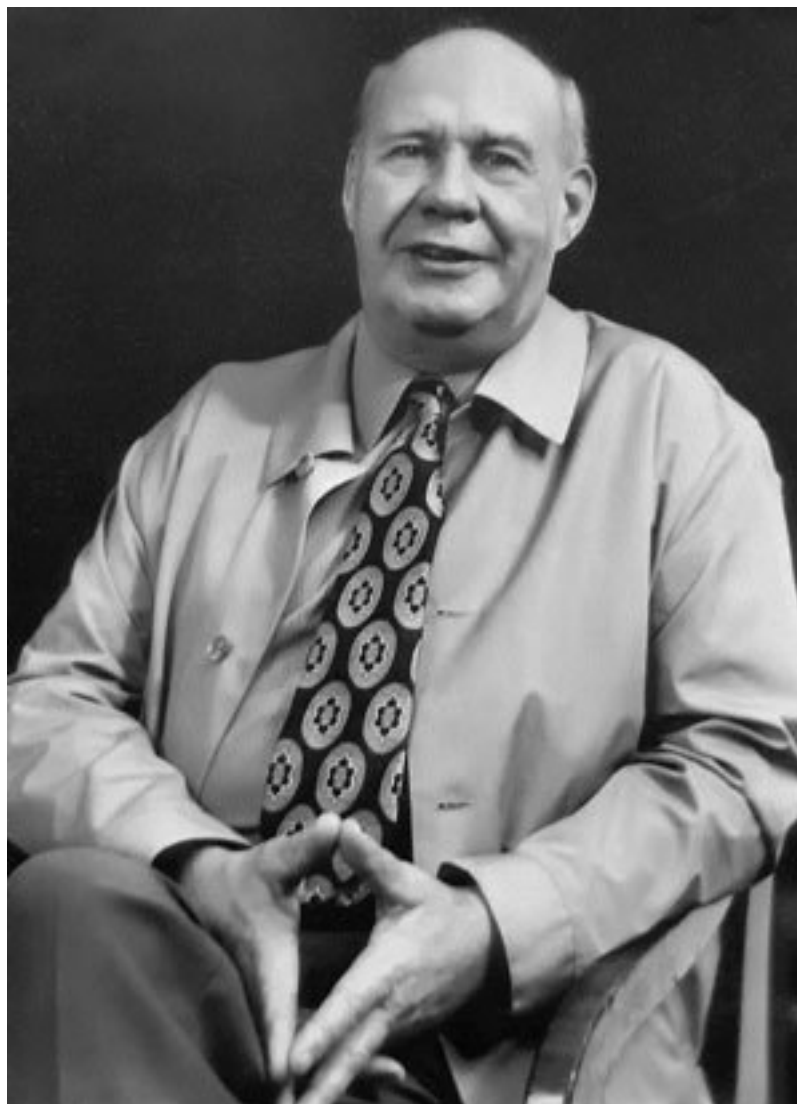
– Ты читал «Доктора Живаго»? – вдруг спросил меня деда Вася.

– Читал.

– Помнишь то место, в конце второй части, где молодой Юра перехватывает обмен взглядами между Ларисой и Комаровским? Великолепно прочувствованная и описанная Пастернаком сцена!

Дед задумался. А потом сказал:

– Когда он *так* на нее посмотрел, я понял, *что* для него дороже всех поездок, стихов, а может быть, и управляемых ядерных частиц. Я спустил затвор. И все потом говорили, что получился портрет ученого, влюбленного в свою работу. На самом деле я снял мужчину, влюбленного в свою жену.



Дмитрий Блохинцев, 1973

Любовь, в том или ином ее проявлении, дед снимал много раз. Счастливую и одновременно страдающую Марину Влади накануне ее свадьбы с Владимиром Высоцким. Великолепных Екатерину Максимову и Владимира Васильева на пике их творческой карьеры. Влюбленную в своих темпераментных поклонников испанскую танцовщицу Кэти Клавиho...

И лишь однажды он заснял ненависть. Холодную и откровенную. Такой, какой ей и полагается быть. Октябрь 1946 года. Последние заседания Нюрнбергского процесса. Из всего журналистского пула на них допускались лишь двое – от каждой страны-победительницы. Одним из них был мой дед.

– «Зал 600» был по нынешним меркам не такой уж и большой, – рассказывал он. – И все равно от нас до скамьи подсудимых метров 8 – 10. Но ведь у меня в руках камера с мощным увеличением! Возможно, я был единственным человеком в зале, кто мог увидеть лица фашистских главарей вплотную, глаза в глаза! Я приближал, отдалял их лица, искал верный ракурс и, как всегда, старался понять – нет, не суть этих людей (она таилась слишком глубоко, и ее затмевал элементарный страх возмездия), но хотя бы психологическое состояние каждого подсудимого.

Заместитель Гитлера по руководству партией Рудольф Гесс. Зябко кутается в плед, нервничает, бегающий взгляд, скрытая паника.

Начальник штаба Верховного главнокомандования вооруженными силами Германии фельдмаршал Вильгельм Кейтель. Безупречная военная выправка, твердый взгляд, уверенность в том, что свой долг офицера он выполнил до конца. Начальник штаба оперативного руководства Верховного командования вермахта генерал Альфред Йодль – страшно нервничает и старается быть максимально предупредительным с трибуналом. Когда к нему обращаются, мгновенно вскакивает и застывает «навытяжку». Надеется, что пощадят. Главнокомандующий военно-воздушными силами Германии Герман Геринг. Ссылаясь на больные глаза, сидит в темных очках. Его распирает бешеная злоба и изумление: как получилось, что он, еще вчера почти всесильный, купающийся в роскоши рейхсмаршал, сегодня вынужден оправдываться и слушать страшный приговор.



На Нюрнбергском процессе, 1945-1946

Начальник Главного управления имперской безопасности СС обергруппенфюрер Эрнст Кальтенбруннер. По лошадиному длинное, холодное лицо со шрамами. Полное пренебрежение к происходящему. Думаю, он уже простился с этим миром. Приговор слушает бесстрастно, потом вдруг странно улыбается и отвешивает залу короткий поклон. И мне кажется, я понимаю этого страшного человека. Он, как и Кейтель, не раскаивается в содеянном. Но Кейтель – классический тип германского вояки, а Кальтенбруннер – убежденный палач и садист. И мы для него – даже не противники, а что-то вроде кусачих муравьев, волею судьбы взявших верх.

И еще, глядя на этих людей, я понимаю, что, если бы верх взяли *они*, – Кальтенбруннер превратил бы весь мир в Бухенвальд и Освенцим. И отвесил бы вслед умирающему человечеству такой же ироничный поклон.

Черный кофе, красная клубника и желтый подсолнух

– Умение различать цвета – величайший дар природы человеку, – говорил дед. – Это умение дано каждому, но нужно еще научиться различать оттенки. И уметь смешивать и сами

цвета, и их оттенки. Знаешь, красный входит в тройку основных, зеленый – это смесь желтого и синего? И любой цвет спектра может стать белым или черным, в зависимости от яркости.

Этот разговор происходил летом 1974 года, накануне удивительного в моей пятнадцатилетней жизни события: дед уезжал в недельную командировку на Украину и впервые брал меня с собой.

– Будем много переезжать, снимать самых разных людей. Мне нужен помощник! – объяснял он моим родителям. На самом деле помощник у него был – молодой фотокорреспондент Володя Вяткин, считавший деда своим учителем. Володя только что отслужил в армии, был крепким двадцатитрехлетним парнем и без труда перетаскал бы за дедом всю его аппаратуру. Думаю, дед просто хотел чуть-чуть меня «профориентировать».

Честно говоря, редкие посещения его невероятной квартиры-студии на Кутузовском сформировали у меня несколько искаженное представление о журналистике вообще и фотожурналистике в частности. Мы скучали друг по другу, и, когда я приезжал, дед как мог старался отложить работу, порой даже переносил съемки, и мы веселились вовсю. По сравнению с восьмичасовым рабочим днем отца и матери по пять раз в неделю, его работа иногда вообще рисовалась мне эдаким произвольным творческим полетом под лозунгом «когда захочу – тогда и сделаю». Картину дополняла полная гастрономическая рассеянность деда Васи: в его доме часто не было хлеба, но всегда стояли распечатанные коробки с шоколадными конфетами и пирожными, могло не оказаться молока, но в баре теснились самые изысканные по тем временам вина и более крепкие напитки. Богема, да и только!



В поездке

И вот я увидел деда за работой. И какой работой! Не по восемь и не по десять часов, а буквально от восхода до заката мы мотались на машине по каким-то частным и казенным квартирам, студиям, городским и поселковым комитетам, договаривались о съемках, размечали маршруты на следующий день, отвечали на тысячи вопросов о Москве, Агентстве печати «Новости» (где дед работал все эти долгие годы), о новинках в области фотоаппаратуры, о различных методах съемки... И снимали, снимали, снимали! Все это, конечно, делали дед и Володя, я же честно таскал не слишком тяжелые штативы и к концу дня мечтал лишь об одном – добраться до очередной роскошной гостиничной кровати (принимали нас по первому разряду) и на пять часов провалиться в сон. Томный и богемный семидесятичетырехлетний дед Вася на проверку отказался тугой стальной пружиной в мягкой оболочке своих утонченных манер, которые не мешали ему, когда не оставалось времени на ресторан, вооружиться алюминиевой ложкой и хлебать сомнительное харчо в придорожной столовке. Или найти общий язык с работягами какого-то отдаленного колхоза, поначалу настроенных не очень доброжелательно к «столичной птичке» в неизменном французском берете набекрень.

– Вы делаете свою работу, мы – свою, – пояснил им дед. – Вот тебе, хлопец, наверное, удобно в свои широкие карманы прятать горилку? А мне мой берет череп от солнца прикрывает. Дед театральным жестом приподнял берет, обнажив розовую лысину. Вокруг захохотали, и инцидент был исчерпан.

А о свойстве некоторых цветов и оттенков у меня в той поездке остались свои, субъективные воспоминания.

В квартире народного художника СССР Василия Бородая мне поручили ответственное дело: держать в наклонном положении специальный зонтик, в который должна была выстрелить печально знакомая мне осветительная лампа. По задумке деда, только такой отраженный свет правильно подсветит с задней стороны золотисто-красные витражи. На их фоне пожелал сниматься их автор – Василий Бородай. Я с блеском выполнил свою работу и потом много лет показывал родным и знакомым дедовскую картину, приговаривая: «А вот там стою я и держу зонтик».

В знак признания художник угостил нас какими-то сладостями с черным кофе. По тогдашней моде он был не просто черный, но еще и без сахара. И, в духе хлебосольных украинских традиций, от всего сердца налил его не в маленькие кофейные чашечки, а в увесистые трехсотграммовые кружки.

Надо признаться, дома мы кофе вообще не пили. Изредка я пробовал хорошо разбавленный молоком сладкий напиток, который пила бабушка, «опасаясь давления». Но был я при этом очень послушным и тактичным мальчиком.

– Ешь там все, что дадут, – напутствовала меня мама перед поездкой. – Не привередничай. А то будет стыдно.



Василий Бородай, 1974

Чтобы «не было стыдно», я мучительночестно выпил крепчайший кофе по-турецки в украинской таре. До самого дна. (Думаю, мне было бы легче выпить пузырек черных чернил.) И впал в странный полубоморочный транс. Но надо было ехать дальше. Нас уже ждала у себя на квартире артистка Ада Роговцева, героиня моих любимых в то время фильмов «Салют, Мария!» и «Укрощение огня».

Я держался как мог. Увлеченные разговором с Бородаем и прошедшими съемками, ни дед, ни Володя Вяткин не замечали моего состояния. Но Ада Роговцева заметила. Она выпорхнула нам навстречу в ярком цветном платье, как настоящая райская птица. И тотчас присела и заглянула мне в лицо.

– Вы такой бледный, – сказала она. – Все ли в порядке?

– И в самом деле, – спохватился дед. – Устал, наверное?

– Слишком много выпил... кофе, – с трудом ворочая языком, пробормотал я, конфузясь.

– Да! – подтвердил Володя. – С кофе он там действительно переборщил.

Ада мгновенно порхнула куда-то вглубь квартиры и тут же вручила мне чашку со свежепротертой с сахаром клубникой.

– Я как раз делала заготовки, – сказала она. – думаю, это поможет.

От клубники исходил блаженный аромат свежести. Я ел клубнику и чувствовал, как кофейная пелена спадает с глаз. Мне и раньше нравилась Ада Роговцева, но с тех пор я полюбил ее как свою спасительницу. Ее... и протертую клубнику.

А потом был ночной переезд в уже упоминавшийся отдаленный колхоз. Помню черную-черную южную ночь, какого-то странного провожатого, сидевшего рядом с дедом и время от времени на всю кабину запевавшего популярные оперные арии. И режущие глаз огни встречных машин.

– Как они спят! – недовольно пробормотал дед. – Нет чтобы притушить как полагается...

– А давайте пару раз включим нашу «волшебную лампу»! – предложил я, все еще ощущая прилив сил после клубники.

– Что ты! – испугался дед.

А Володя задумчиво добавил:

– На такой скорости и на такой дороге это – настоящее оружие. Собьет в кювет только так!



Галина Бойко, 1974

В колхозе дед должен был снять доярку на лоне природы. Предполагалось, что это будет собирательный образ молодой украинской девушки-красавицы. Вместо этого, по указанию обкома или крайкома, нам представили почетную доярку края, передовицу и ударницу Галину Бойко. Была она дородная и добродушная. И не девушка, а бабушка.

Дед сначала даже растерялся, но потом повел ее в сады-огороды, повертел под солнечными лучами влево-вправо, о чем-то пошептался с председателем колхоза... И сегодня с картины на нас глядит веселая и совсем даже не старая, а мудрая молочница в красно-белом национальном сарафане и красном платке на фоне красных полевых маков. Картина стала настоящей удачей и, как мне кажется, даже пахнет парным молоком!

Доярка подарила мне на прощание огромный, величиной с таз, подсолнух. Подсолнухи я видел только в кино и принял подарок с благоговением.

Мы вернулись в Киев, и я, желая получше сохранить чудо-цветок, вынес его на ночь на балкон нашего гостиничного номера. Рано утром нас разбудил птичий концерт: чирикали воробьи, чирикали дружно и оживленно. И было их, судя по голосам, великое множество.

Я вышел на балкон и вместо правильного диска подсолнуха увидел безобразно расклеваный остов, больше похожий на кашу. Это был удар. Я так хотел привести домой настоящий сувенир с украинского поля! Но мудрый дед и тут сумел найти нужные слова:

– Стихия всегда требует жертв! – сказал он. – Греки бросали в море бочки с оливковым маслом. Испанцы швыряли в океан пригоршни золотых монет. В Карфагене, прежде чем пересечь пустыню, и вовсе резали людей. Мы славно поработали, много повидали... Будем считать твой подсолнух нашим совместным жертвоприношением этой поездке.

И я, конечно, сразу утешился.

* * *

Вот уже почти четверть века деда Васи нет с нами.

Ушли из жизни большинство персонажей его картин, тускнеют и портятся и сами работы – даже лучшие фотокраски бессильны против времени. Быть может, где-то в архивах РИА «Новости» (бывшего АПН) хранятся малышевские негативы. Да только кому они нужны в век цифровой фотографии... Так есть ли смысл в жизни, если спустя всего два-три десятка лет о нас помнят разве что наши стареющие внуки и некоторые пожилые ученики? Несомненно! Только не стоит измерять его объемы количеством фоторабот или числом написанных строк (равно как и в декалитрах надоевшего молока или тоннах добытого угля).

Почти весь XX век мой дед служил Красоте, извлекал ее из новых и новых лиц, находил в каждом новом персонаже. Но когда я сегодня думаю о нем, я вспоминаю не его картины или рассказы, а лица людей в момент духовного взаимопонимания, возникавшего при общении с дедом.



Я с дедом на даче, 1961

– Великолепно! – говорил он, вглядываясь в эти лица своими цепкими глазами. И я видел, как уставшие после дороги путешественники отдыхали в кресле, посреди дедовской комнаты-студии. Как замученные болезнями пациенты вдруг сбрасывали с себя груз болячек и смотрели в дедовскую камеру иным, просветленным взглядом. Как улыбались грустные, как смягчались скептики. Порой это преображение длилось считанные минуты, ровно столько, сколько шла съемка. Но если человек даже на мгновение поверит, что он прекрасен, жизнь покажется ему чуточку легче, а выбранный путь – понятнее.

Дарить людям радость – что может быть банальнее? Но есть ли в этом мире подарки дороже?



С дедом в Парке культуры и отдыха им. М. Горького, 1970

Нет, я не стал фотокорреспондентом, как, наверное, мечтал дед. Моим призванием стала радиожурналистика. Вот уже двадцать лет я работаю на «Радио России», и говорить мне нравится больше, чем изображать, а рассказывать – больше, чем показывать. Возможно, в недалеком будущем я сам стану дедом, и крохотный внук сначала ухватит меня за палец, а лет через десять ужаснется: «И я стану таким... сморщенным, как ты?!»

Но я не стану читать ему морали или учить философии. Я постараюсь обыграть его в шахматы, затаскать по выставкам и вернисажам, замучить поездками по стране и миру, научить его любить этот мир и понимать людей, которые его населяют. Так, как учил меня дед.

В моей квартире висит несколько его картин. На них он сам, мои родители и я – в «нежном» грудном возрасте. Когда-то этот толстощекий малыш глядел на посетителей персональных дедовских выставок со стен Манежа, Дома журналистов, Дома дружбы с зарубежными странами...

Сегодня мой черед напомнить читателям о том, кем был мой дед, Василий Алексеевич Малышев.

В. А. Потресов

Из беженских скитаний Сергея Яблоновского

Я никогда не видел своего деда, не сидел у него на коленях, не дергал за бороду. Хотя, когда в конце 1953 года его не стало, я учился в первом классе 110-й московской мужской средней школы. Вот в том-то и дело: я ходил в московскую школу, а дед умер в Париже – в тот последний год сталинского правления расстояние между этими столицами было больше, чем от Земли до Марса.

О моем деде, Сергее Викторовиче Потресове, более известном в театральных и литературных кругах России до революции как Сергей Яблоновский, мне рассказывал отец. Иной раз, прогуливаясь по Москве, мы останавливались перед нестарым тогда еще домом в стиле модерн, скажем на углу Среднего и Малого Николопесковских или Петровки и Столешникова (дед, оказывается, любил менять жильё), и, показывая на окна в бельэтаже, рассказывал, сколько семья нанимала тут комнат, кто здесь бывал и прочие занятные, но ушедшие в дореволюционное прошлое детали.

Когда в середине пятидесятых в Москве стали появляться люди, казалось бы, навсегда исчезнувшие в тридцать седьмых, я познакомился со своим дядей Володей, братом моего отца: почти двадцать лет он провел в лагерях за то, что встречался с моим дедом в Париже. Когда речь заходила об эмигрантах, которых советская власть по разным причинам прощала, о деде речи не было: видимо, даже в после – сталинское время он представлял большую угрозу для коммунистического режима.

Чем же так насолил дед советской власти, я узнал значительно позже, когда довелось познакомиться с его архивом, обнаруженным за рубежом. Впрочем, я и раньше из эзоповских высказываний взрослых вылавливал информацию о дедовых провинностях перед властью.

И в России, и даже во Франции, где он провел тридцать три эмиграционных года, удавалось обнаружить лишь разрозненные небольшие фонды, как, например, в РГАЛИ, ИНИОНе и еще кое-где. Благодаря счастливому случаю, о котором расскажу позже, найти кое-какие материалы о нем, сохранившиеся рукописи и публикации, удалось в Бахметевском архиве Колумбийского университета в Нью-Йорке (США). Соединив обнаруженные западные архивы, отечественные фонды, по крупицам собранные книги, публикации и то, что чудом сохранили мои родственники, удалось воссоздать образ деда, видеть которого, повторю, мне, увы, не довелось.



С. В. Потресов (Яблоновский), 1910-е годы

Вот тогда я понял, что держу в руках забытое наследие, и возникла идея вернуть отечественной культуре имя моего деда, журналиста, поэта, театрального и литературного критика Сергея Викторовича Потресова, более известного под псевдонимом Сергей Яблоновский [2(15).11.1870, Харьков – 6.12.1953, Париж]. Один из известнейших в начале XX века фельетонистов, соредактор сытинского «Русского слова»¹, самой крупной газеты начала XX века, автор бесчисленных рецензий и статей об актерах и театре, публицист, участник и руководитель московских литературных объединений, Сергей Яблоновский из-за своих убеждений и активных политических действий в 1918 году был приговорен екатеринбургской ЧК к рас-

¹ Ежедневная газета, выходила в Москве с 1895-го по 26 ноября (9 декабря) 1917 г. Издатели – А. А. Александров, с 1897 г. И. Д. Сытин. В газете сотрудничали В. М. Дорошевич (с 1902 г. – фактический редактор), А. В. Амфитеатов, П. Д. Боборькин, В. А. Гиляровский, Вас. И. Немирович-Данченко и др. Газету называли «фабрикой новостей», и критика власти способствовала превращению газеты в одно из самых распространенных изданий России. Тираж к началу 1917 г. составлял 600–800 тыс. экземпляров. После Февральской революции 1917 г. поддерживала Временное правительство, выступала против большевиков. К Октябрьской революции 1917 г. отнеслась враждебно. Закрыта постановлением Московского ВРК. С января по 6 июля 1918 г. выходила под измененными названиями («Новое слово», «Наше слово»). В июле 1918 г. закрыта окончательно.

стрелу. Тогда ему удалось бежать на юг России, где он участвовал в Белом движении, а в 1920 году Яблоновский навсегда покинул родину. В эмиграции жил в Париже.

Стоит ли говорить, что власти, которые правили страной с 1917 по 1991 год, сделали все возможное, чтобы имя С. Потресова-Яблоновского, его произведения были навсегда забыты. Надо отдать им должное, властям это удалось довольно успешно, хотя даже в советские годы отдельные произведения опального автора все же публиковались, вероятно, по недосмотру, лени или недостаточной образованности цензоров. Я расскажу об этих редких изданиях.

Не рассуждая о долге перед историей и памятью, мол, почему я взялся за эту работу, приведу простое сравнение. Если представить полотно нашей культуры в виде мозаичного панно, легко заметить, что в нем отсутствуют значительные части, как из-за утраты отдельных кусочков смальты, так и целых фрагментов. Наибольшие потери слоев ощущаются в первой половине XX века. И я решил, что, располагая архивами и определенным литературным опытом, смогу восстановить хотя бы один небольшой кусочек этого полотна, вернув истории отечественной культуры имя деда вместе с трагической историей его жизни и творчества.

Многое из наследия Яблоновского нынче, разумеется, не актуально. Ведь был он в том числе журналистом, газетчиком, однако порой не знаешь, что через столетие откликнется и снова зазвонит в полную силу. Что-то из его писаний потеряно безвозвратно, а что-то не удалось пока обнаружить, как, например, книгу Сергея Яблоновского «Карета прошлого», которая, по дошедшим воспоминаниям автора, была выпущена в свет в Эстонии накануне большевистского вторжения, после чего и издатель, и тираж были уничтожены. Доверяясь упительной лжи Воюнда – «Рукописи не горят», смею надеяться, что где-то сохранились хотя бы гранки «Кареты», небольшую часть из них (с рукописными правками автора) мне удалось разыскать.

Раздумывая о том, как уничтожение культурных слоев сказывается на последующих поколениях, неизбежно вспоминаю фантастический рассказ Рэя Брэдли. Там герой, оказавшись в доисторическом мире, случайно раздавил бабочку, а вернувшись в реальное время, ужаснулся неотвратимым переменам. В революционные и последующие годы давили вовсе не бабочек, и последствия для культуры мы ощущаем сегодня. Это и есть, пожалуй, то главное, что спровоцировало меня заняться восстановлением памяти о деде. Очень важно, чтобы потомки уничтоженных, репрессированных, распыленных по белу свету деятелей нашей культуры взялись бы за подобное дело. Знаю, кое-кто занимается этим сегодня безо всякой поддержки государства, которое, как известно, интересуется чем угодно, только не сохранением собственной истории и культуры. Но таких людей немного, а кто этого не делает, язык не повернется осудить.

Отсутствие многих документов, вольность в трактовке событий способствуют появлению ошибок не только в отдельных публикациях, связанных с вычеркнутыми из нашей истории лицами, но даже в энциклопедических изданиях. Что касается Яблоновского, то дополнительные проблемы для исследователя связаны с тем, что в отечественной журналистике одновременно фигурировали два человека, использовавшие этот псевдоним. Более того, оба, Сергей Викторович Яблоновский-Потресов и Александр Александрович Яблоновский-Снадзский, родились в один и тот же год и, если верить сохранившимся источникам, в один день – 15 ноября 1870 года (видимо, отсюда и тянется шлейф путаницы биографий Яблоновских). Оба работали в южнорусских газетах, а затем – в «Русском слове» (по воспоминаниям моей тетки, старшей дочери С. В. Яблоновского, ее отец – до 1916 года, а заменивший его – хитрый трюк редактора Дорошевича! – фельетонист А. А. Яблоновский – с 1916-го).

Оба Яблоновских покинули Россию в феврале 1920 года на пароходе «Саратов» и вместе оказались в британском лагере для военнопленных турок Тель-эль-Кебир в африканской пустыне. У обоих имеются эссе об этих скитаниях. В ноябре 1920 года С. В. Яблоновский

выехал в Париж, а А. А. Яблоновский в том же году – в Берлин, но уже с 1925 тоже жил в Париже.

Но и помимо этого ошибок в разных изданиях хватает. Так, в биографическом очерке фонда С. В. Потресова в Бахметевском архиве неверно указано, что родился он в Москве, учился на юриста, а во время революции был арестован большевиками². Кроме того, в ряде документов разных фондов нередко ошибочно указано его отчество – Васильевич. В «Театральной энциклопедии» неверно указаны дата смерти: (около) 1929), нелепо звучит: «в 1917 г. эмигрировал из Сов. Союза», а также, что он «окончил историко-филологич. ф-т Моск. ун-та». Последнее, может быть, и имело место, но подтверждающих документов обнаружить мне пока не удалось. В книге «Литературное зарубежье России» неправильно отмечено, что Яблоновский уехал в Париж в апреле 1920 года, а также ему приписаны издания, в которых, в частности, печатался А. А. Яблоновский. Наиболее верно краткая биография С. В. Яблоновского опубликована в книге А. И. Серкова «Русское масонство. 1731–2000 гг. Энциклопедический словарь» (дед был посвящен в ложу Юпитер [Париж] 21 июня 1928 года), но и там есть неточности, скажем дата его смерти ошибочно указана 21 декабря 1953 года, «Саратов» назван теплоходом и т. д.

Не знаю, почему А. Снадзский взял псевдоним Яблоновский, относительно же Сергея Потресова существуют по крайней мере две версии. Из семейных историй мне известно, что дед считал: литературные таланты, которыми снабдил его Господь, почерпнуты не от орловских дворян Потресовых, а от древнего рода князей Яблоновских (его мать, А. К. Яблоновская, по семейному преданию, происходила из этого польского рода, известного помимо фигур военных и государственных значительным числом деятелей культуры и науки). Мол, поэтому дед и взял псевдоним в качестве основного.

² К счастью, последнего не случилось. По воспоминаниям моего отца А. С. Потресова, а также в опубликованных воспоминаниях дяди В. С. Потресова (см. Эдвард Радзинский. «Николай II: жизнь и смерть»: «Матери объявили, что екатеринбургская ЧК заочно приговорила отца к расстрелу за участие в заговоре с целью освобождения Николая II». Если бы С. В. Яблоновского арестовали, его бы немедленно уничтожили. На самом деле ему удалось покинуть Москву с поддельным паспортом на имя Ленчицкого (об этом далее) и бежать на белый юг России.

В лунном свете.
Маленькие ноги, светлые напосеиной,
Загадочней и властней всех людей...
А здесь, в тиши, среди шепота бесконной,
Сущей в сердцах и трепетных сны.
Лунный дождик светится салютное,
Нас не до шашит, шуршит и таинств,
Дает посетит что то роковое
И трепетать, и вправды верить.
Кругом трава сверкает под росой,
А здесь, не видя, гветвет мой всегда
Блеск и прелесть маж, упивших слезою
И придет нас, отбрасывающих маж.
Мы не можем, мой друг, мы не хотим
Сладко идти, но нас была луна,
Новички из безмолвия нас трепет
И безднот ногая тишина.
И вот - мы здесь... и вот мы сами, мы все,
Груды не выкупают трепета и шурш...
И здесь и здесь, и мы, и нас, и нас -
Видим в адинах неразрешимой шурш.
Рядом ты и вотт дит страсти слова,
Всех кротостью, все кто-то ты наша...
Всесильная, нас с нева галубого
Лодит великая страшная луна...
С. Погресов.

Стихи С. В. Потресова (Яблоновского) «В лунном свете»

По другой версии, изложенной А. Свирским в романе «История моей жизни», Сергей Яблоновский признался автору, что псевдоним происходит от стихотворения «Яблоня», получившего большое признание после выхода его первого поэтического сборника (под фамилией Потресов).

Значительное число документов, связанных с именем С. В. Яблоновского, хранится в Бахметевском архиве. Пытаясь безуспешно разыскать архив С. В. Яблоновского во Франции, я случайно наткнулся на публикацию в журнале «Знамя», где печаталось до той поры неизвестное письмо В. В. Набокова к С. В. Яблоновскому с указанием места хранения – фонд С. Потресова, Бахметевский архив. Мне удалось практически полностью скопировать этот фонд (а также документы, связанные с Яблоновским в фондах других лиц), вернуть их на родину, а затем перевести в цифровую форму, обеспечив таким образом надежную сохранность. Каким образом документы Яблоновского оказались в США, могу предположить, что в архив, созданный Б. А. Бахметевым³, их передала Н. И. Давыдова (1897–1978), вторая жена С. В. Яблоновского. На момент смерти Яблоновского в США проживали духовник деда и большой его почитатель писатель Гребенщиков, и они вполне могли оказаться посредниками в этом вопросе. Н. И. Давыдова состояла в переписке с обоими, и это подтверждается документами из фонда.

Неясно, правда, каким образом там оказались материалы, датированные годами жизни деда в дореволюционной России. Трудно предположить, что он сохранил их, скитаясь по югу России, египетской пустыне или во время бесконечных переездов с квартиры на квартиру в Париже. Но эти документы в Бахметевском архиве существуют, за что низкий поклон и его основателю, и хранителям.

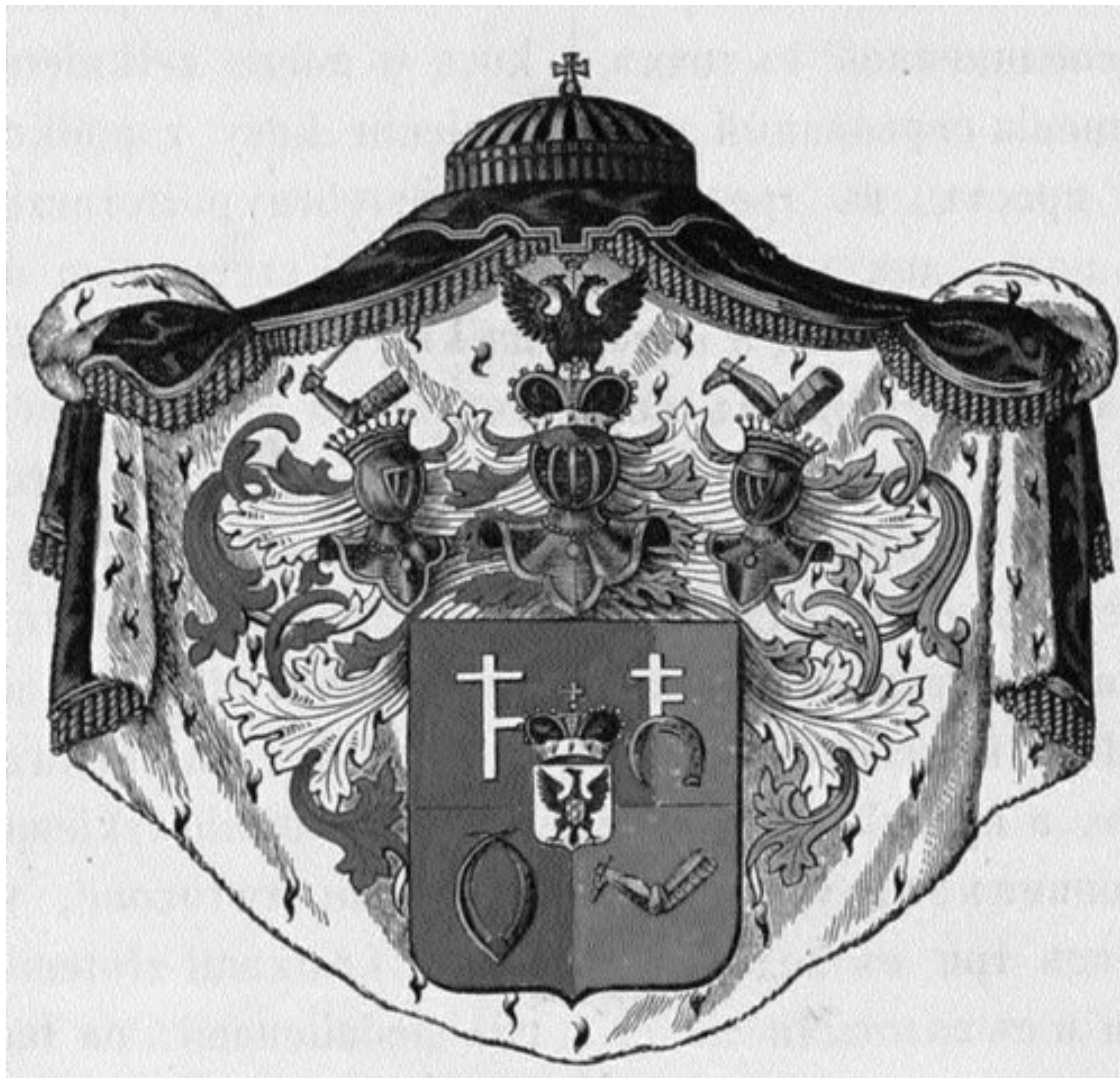
Значительно скромнее на этом фоне выглядят российские (бывшие советские) архивы, в которых удалось обнаружить лишь разрозненные документы С. В. Яблоновского, частично переданные туда его первой женой. Но, по воспоминаниям С. С. Потресовой, многие из них утеряны. Вот что известно о родословной С. В. Потресова-Яблоновского. Его дед Потресов Иван (отчество и годы жизни неизвестны) – потомственный дворянин Орловской губернии, последний в роду помещик. По некоторым сведениям, в Орловской губернии было село Потресово, но найти его не удалось, возможно, оно бесследно уничтожено во время коллективизации или Великой Отечественной войны.

У него были дочь и два сына. Один – Виктор Иванович Потресов, адвокат, присяжный поверенный в Харькове (умер, скорее всего, около 1882 года). Он женился на Аделаиде Ксавьеревне Яблоновской, согласно семейным преданиям – последней в малороссийской ветви рода князей Яблоновских. Принять княжеский титул не пожелал (существовал закон: если княжеский род прерывается из-за того, что нет продолжения по мужской линии, то муж-дворянин последней княжны получает право взять фамилию жены и получить княжеский титул). Первый брак А. К. Яблоновской был с Александром Ивановичем Апостол-Кегичем, от которого она имела дочь Елену Александровну, а от второго брака, с Потресовым, были дети: Надежда Викторовна и Сергей Викторович Потресовы. Сестры Яблоновской, Фелиция Ксавьеревна и Конкордия Ксавьеревна, рано умерли. По воспоминаниям С. В. Потресова-Ябло-

³ Бахметев, Борис Александрович (1880–1951) – инженер-гидравлик, выпускник петербургского Института путей сообщения. Под его руководством были разработаны проекты Днепровской и Волховской ГЭС, осуществленные при советской власти. С 1915 г. руководил закупочной комиссией Центрального Военно-промышленного комитета в США. После Февральской революции – товарищ (заместитель) министра промышленности и торговли Временного правительства. С июня 1917 г. – посол в США. После большевистского переворота заявил, что пришедшее правительство не выражает интересов народа России. Сохранил статус посла. После отставки в 1922 г. остался в США. Основатель, директор и главный спонсор Гуманитарного фонда, основатель Фонда помощи русским студентам, а также Архива русской и восточноевропейской истории и культуры в Колумбийском университете, лучшего собрания российских материалов за рубежом, носящего имя Бахметева и до сих пор существующего на доходы от оставленного им капитала.

новского, известно, что у его матери было имение в Пересечной, рядом с усадьбой актерской династии Рыбаковых.

Елена Александровна (урожденная Апостол-Кегич) вышла замуж за Георгия Павловича Муравьева, из мещан г. Харькова. Надежда Викторовна Потресова вышла замуж за хирурга из Харькова Тринклера.



Герб Яблоновских

Второй сын помещика – Иван Иванович Потресов, писал от имени брата, против его желания, на Высочайшее имя о присвоении княжеского титула. Умер, подавившись зубочисткой, из-за чего Муравьевы, которым он, по воспоминаниям, чем-то досаждал, якобы сказали: «Собаке – собачья смерть».

Их сестра, Мария Ивановна (урожденная и по первому браку Потресова), вышла замуж за родного деда(!). У них родился сын Иосаф, гигант, обладал невероятной физической силой, но умер молодым от гипертрофии сердца. По воспоминаниям моего отца, А. С. Потресова, муж Марии Ивановны скончался через полгода после их женитьбы. Второй брак – за Римским-Корсаковым (более о нем ничего не известно), и тоже полгода. Третий брак с генерал-губернатором Харькова, и тоже недолго – около года. Она прожила три громадных состояния и умерла в приюте для дворян (в 1930–1933 годах приют находился под Харьковом в Хорошевском монастыре), где соседствовала по комнате с Лилей Лермонтовой, двоюродной внучкой М. Ю. Лермонтова. Когда Мария Ивановна умерла, то Лилю задушили (видимо, надеялись, что от Марии

Ивановны остались драгоценности). Мой отец полагал, что деньги в приют за нее вносила племянница Надежда Викторовна.

Увы, начал я интересоваться жизнью С. В. Яблоновского слишком поздно, когда не осталось никого из знавших его, а воспоминания о его детстве слишком скупы, и в них много неясного. Из некоторых источников удалось выяснить, что после смерти отца Сергей почему-то остался не с матерью, а жил в семье друзей отца, Морозовых. Тем не менее С. В. Потресов в своих произведениях вспоминает о матери с большой теплотой и посвящает ей свой первый сборник стихов. Неясно также, где и какое он получил образование, сам Сергей Викторович об этом нигде не писал. Восстановить историю его жизни и творчества удалось с помощью часто отрывочных мемуаров (в основном касающихся деятельности, встреч и т. д.), писем, дневников и воспоминаний связанных с ним людей.

Вот таким образом удалось создать достоверный очерк жизни и трудов моего деда – Сергея Потресова-Яблоновского, Итак:

Харьков. Проба пера и ощущение театра

Согласно фамильному генеалогическому дереву, «наши» Потресовы – потомственные дворяне Орловской губернии, где последним помещиком в роду был Иван <...> Потресов (мой прапрадед). Потресова-Яблоновского нередко путают с А. Н. Потресовым, марксистом, партийная кличка Старовер, также эмигрантом. Из семейных преданий известно, что А. Н. Потресов приходился троюродным братом моего прадеда.



Харьков, Земельное училище

В своих воспоминаниях эмигрантка Ольга Морозова, харьковчанка, знавшая Сергея Потресова с детства, писала: «...отец его, популярный харьковский адвокат, чувствуя приближение смерти, просил своего друга, моего отца (тогда директора харьковского Земледельческого училища), взять к себе его сына Сергея и сделать из него хорошего сельского хозяина. Отец взял. Так в нашей семье появился маленький худенький мальчик с большими черными мечтательными глазами. Ему было тогда 12 лет, но выглядел он не старше восьми».

Сельским хозяином Сергей Потресов не стал, как не стал и адвокатом, хоть, по некоторым непроверенным источникам, поступил на юридический факультет Харьковского уни-

верситета. С детства он писал стихи, а в выборе жизненного пути сыграла роль, быть может, географическая близость имений его матери и актерской династии Рыбаковых: «Село Пересечное, Харьковской губернии. Ударение следовало бы поставить на слоге “сеч”, от глагола “пересекать”, но все ставят его на “рес” – Пересечное. В нем усадьба с хорошей библиотекой. Это имение... На столбе, стоявшем у ворот, дощечка; на ней значится: “Усадьба купца третьей гильдии Николая Хрисанфовича Рыбакова”. Того самого, который у Островского “сам” смотрел на игру Геннадия Демьяновича Несчастливцева: “Подошел ко мне Рыбаков, положил мне руку на плечо и говорит: “Ты, – говорит, – да я, – говорит, – умрем, – говорит... – Лестно!”». Усадьба Рыбакова – почти наша родовая усадьба. Павлина Герасимовна, жена артиста, Каролина и Антонина Герасимовны, ее сестры, и «сам» он были большими друзьями моей бабки. Каролина, бывшая гувернанткой моей матери, и скончалась в нашем доме. Сын Рыбакова, Костя, впоследствии артист Московского Малого театра, был мало похож на отца темпераментом – мягкий и рыхлый, но лицом походил на него чрезвычайно. В Несчастливцеве он гримировался под отца, и моя мать, увидев его в этой роли, испугалась: она увидела перед собою Николая Хрисанфовича.

<...>

Тремя поколениями мы тесно связаны с Рыбаковыми и очень часто проводили лето в этой усадьбе. Когда после долгого перерыва я приехал туда уже с женою и детьми, старые крестьянки-хохлушки, обнимая меня, говорили: «Та це-ж наш Сэрежка приехав!»

По собственному признанию, Сергей Яблоновский не любил жанр автобиографии, о его детстве известно крайне немного. В сохранившихся гранках его предисловия к книге «Карета прошлого» он писал, что о его детстве и юности читать никому не интересно, и начал с 1893 года, когда стал постоянным и, возможно, одним из главных сотрудников газеты «Приазовский край», издававшейся в Ростове-на-Дону. «Я писал в этой газете и публицистические статьи, – сообщал Сергей Яблоновский, – и беллетристические рассказы, и лирические стихи, и театральную, а также всякую иную критику».



Титульный лист сборника стихотворений с автографом автора, 1896

Работал Сергей Потресов под разными псевдонимами, публике в Харькове особенно полюбился Комар, который часто, как тогда говорилось, на злобу дня писал в рубрике «Свет

и тени». Горожане охотно ходили на драму, оперу, оперетту в Асмоловский театр на Таганрогском проспекте или городской театр на Садовой. В оперетте тон задавала труппа Блюменталь-Тамарина, а вот куплеты, восхищавшие публику, сочинял как раз Комар. Однажды после инцидента, закончившегося судом чести (Сергей Потресов обругал нетрезвого метранпажа), журналист оставил газету и уехал в Петербург. Скорее всего, здесь сказалось желание провинциала покорить столицу, но было и еще кое-что.

Петербург. Встречи с Майковым и Полонским

Как-то перед этим в Ростове гостил петербургский генерал и издатель по фамилии Погожев, который загорелся напечатать стихи начинающего поэта Потресова, и, как раз к моменту конфликта в редакции «Приазовского края», в столице началась работа по подготовке поэтического сборника.

Ехал Сергей Потресов в Петербург с рекомендательными письмами актера Далматова к драматургам П. Гнедичу и И. Потапенке, критику А. Кугелю. Однажды прислуга гостиницы, передавая деду гранки будущей книги, вдруг объявила, что в соседних номерах живет еще один поэт, Минский, и тоже издает книгу. Состоялось знакомство.

Минский работал над переводом «Илиады», и Потресов, подражая ему, написал «Шахматиаду», в этой поэме с точностью до хода воспроизводил волновавшую тогда просвещенную публику последнюю решающую партию шахматного матча в Будапеште между Чигориным и Харузеком.

В Петербурге Сергей Потресов начал переводить «Метаморфозы» Овидия. Закончив работу, он отправил письмо с переводами «Метаморфоз», а также «Фаэтона» и «Нарцисс и Эхо» Аполлону Майкову. В ответном письме похвалив переводы, тот пригласил автора к себе на дачу в Сиверскую. Позже Сергей Потресов неоднократно посещал Аполлона Николаевича, привез ему изданную книгу стихов, про которую мэтр сказал, что автор поторопился.

Тогда Сергей Викторович поступил с изданием так, как, по его мнению, делали настоящие поэты: «... я уничтожал потом свою книгу везде, где ее находил. Последний эпизод этого рода произошел уже в Париже»⁴. Тот «парижский» экземпляр он не уничтожил, впрочем, как и тот, который с десятком цензурных штемпелей почти через полвека после смерти деда попал ко мне как щедрый дар молодого ростовского журналиста. По впечатлению Потресова, Майков отнесся к его книге снисходительно, указав на отдельные недостатки, и призывал деда бросить журналистику. Потресов его тогда не послушал и не жалел. «Из моей поэзии, – писал он в Париже, – осталось только одно стихотворение, написанное мною в девятнадцатилетнем возрасте, “Яблоня”, положенная шесть раз на музыку. И до сих пор еще я иногда слышу, как люди декламируют и мелодекламируют:

Полная сил, ароматная, нежная,
Яблоня в нашем саду расцвела».

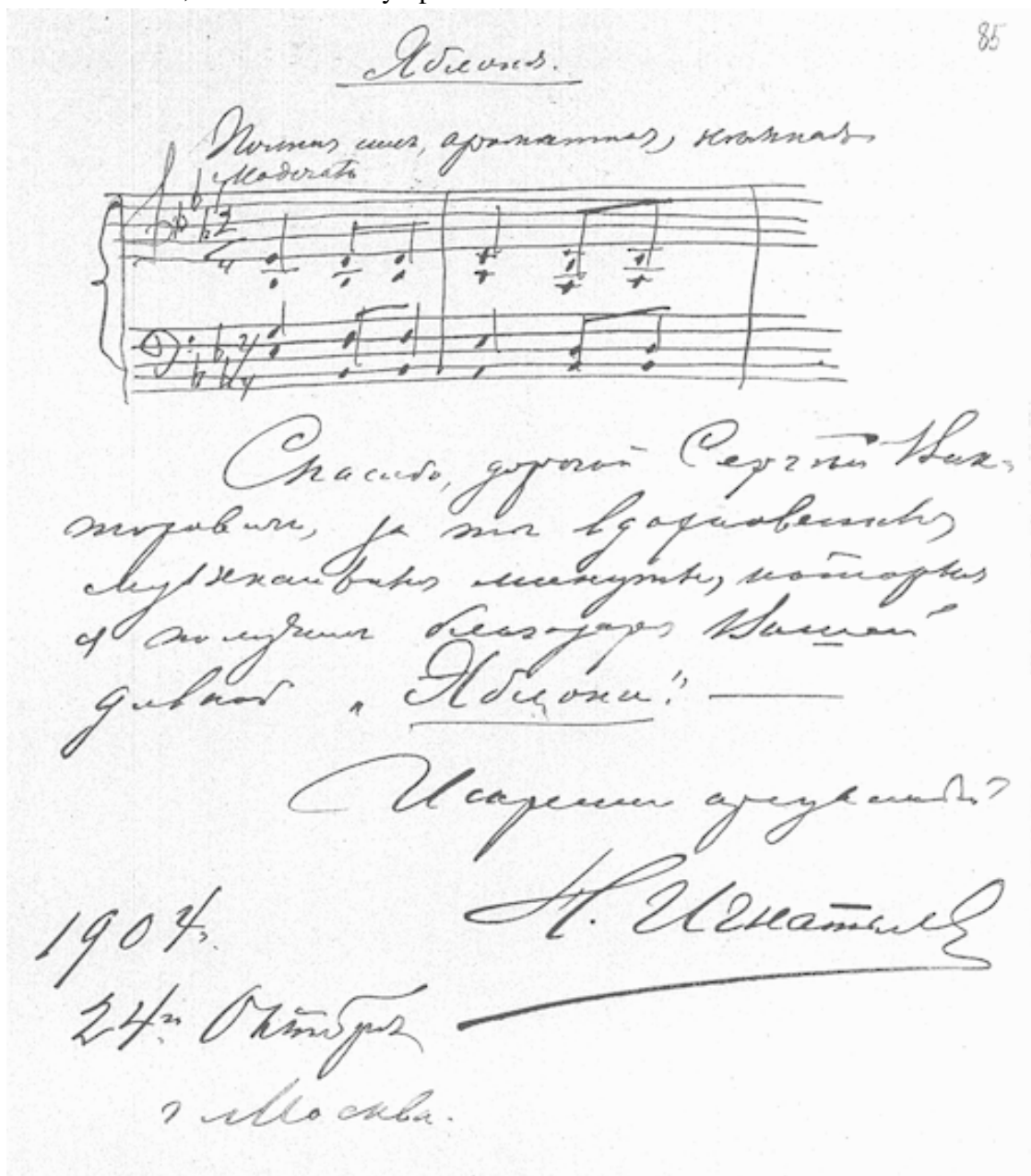
Перевод «Метаморфоз» Яблоновский предложил Суворину, тот, сославшись на незнание языков, направил его к Буренину, однако к издателю дед не пошел. Он отправился к Полонскому, которому некогда посылал свои стихи, и получил напутствие от известного поэта. На этом петербургские встречи закончились.

⁴ Публикуется по автографу (БАР, фонд С. В. Потресова), гранки неизданной книги воспоминаний: Яблоновский С. Карета прошлого. Вместо предисловия, конец 1930-х гг.

Снова Харьков

Тут как раз выяснилось, что харьковской газете «Южный край» требуется фельетонист, Яблоновский вернулся в родной город и увлекся новым делом: «Я на второй странице, – писал он позже, – со всем юным пылом налетал на то, что проповедовалось на первой; харьковцы сразу выделили меня, я быстро вошел в жизнь города, стал членом многих прогрессивных обществ».

Именно благодаря публицистическим выступлениям и театральным рецензиям и портретам в этой газете, к Яблоновскому пришла известность.



Ноты «Яблони», Н. Игнатьев, 1904

Автор антологии «Театральная критика русской провинции» А. П. Кузичева отмечала, что в 1890-е годы очевиден профессиональный рост и влияние провинциальных рецензентов, приводя такой пример: «Вспоминая свою юность, тогдашнюю неудовлетворенность соб-

ственной игрой, П. Орленев рассказывал, какую огромную, решающую роль сыграла в его судьбе рецензия С. Яблоновского. В небольшой работе молодого актера критик угадал большой талант». «Разругав в восьми строчках Далматова за роль Грозного, автор посвятил маленькой роли царевича Федора Иоанновича, которую я играл, всю дальнейшую статью <...>. Он писал: “Я уверен, что если свет рампы увидит вторую часть трилогии Толстого, я предсказываю этому актеру (он даже не назвал имени) мировую известность”. Я спросил Качалова и Тихомирова: “А что это за вторая часть трилогии?” Они мне объяснили, и я попросил их достать ее. Они на последние деньги купили трилогию А. К. Толстого и привезли мне. Когда я дошел до пятой картины: “Я царь или не царь”, вылил все оставшиеся напитки в раковину и дал себе слово ничего не пить, пока не сыграю “Царя Федора”. С тех пор почти два года я бредил этой ролью».

Помимо того что сам Харьков в то время считался городом театральным, здесь гастролировали и крупнейшие столичные театры. Постепенно актерский портрет, который до него особенно не был в моде, стал доминирующим жанром в театральной критике Яблоновского: «Развернутых статей, обзоров или театральных портретов в это время газета “Южный край” не помещала, пока не появился Потресов. Весной 1897 г. он написал большую рецензию о В. П. Далматове в роли Грозного в трагедии А. К. Толстого (“Южный край”, 1897. № 5607. 6 мая). Раздел “Театр и музыка” стал занимать с тех пор заслуженное место, а театральная жизнь города получила интересное освещение».

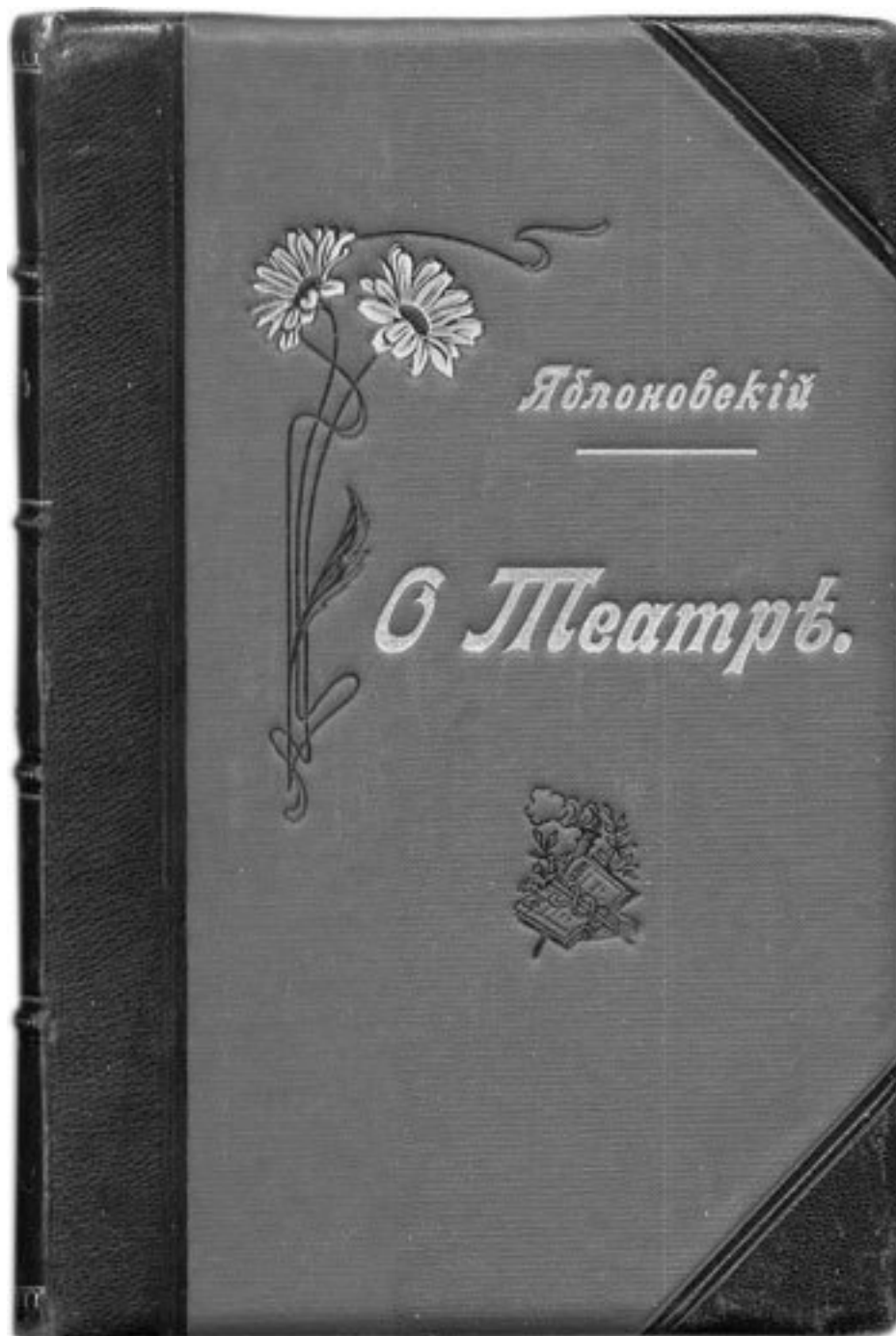


Харьков, памятник А. С. Пушкину

В своей фундаментальной статье упоминавшийся петербургский театровед В. Сомина пишет: «Яблоновский напечатал цикл очерков под общим заглавием “Около театра”. Они посвящены актерам, с которыми автор был близко знаком, и все же – это не мемуары, скорее работы историко-критического жанра. Афористичные характеристики чередуются с развернутыми описаниями отдельных ролей, иногда определяется творческий метод актера. Так, Стрепетова названа “великой бабой”. Но о ней и подробно в “Семейных расчетах” Н. Н. Куликова, и главное итоговое: “Стрепетова – гений страдания, доведенного до своих крайних пределов. Переходила она и эти пределы <...>».

– Как вы это делаете? – спросил я ее.

– Разве я что-нибудь делаю. Я ничего не делаю...



С. Яблоновский «О театре», обложка

Только душу распинаят, а остальное приходит само собой». В том же журнале поместил Яблоновский “Наброски о Малом театре”, в частности в них тривиальное уже в то время сравнение Москвы с Петербургом выражено изящно и оригинально: “Москва – халат, пиджак, поддевка; Петербург – фрак, визитка, смокинг; московский актер может быть мешковат, несколько провинциален, его так легко представить себе помещиком; петербургский – элегантен, нервен, столичная штучка; московская артистка полна, круглолица, глаза с поволокою; петербургская – фигурой змеиста, лицом худоцава, чуть-чуть с истерикой. Они даже говорят на двух разных русских языках <...>”».

В то же время Сомина отмечает: «Эстетическая программа критика весьма расплывчата. Он ценил классический сценический реализм и, прежде всего, актерскую индивидуальность.

В 1904 году Яблоновский писал: «Уметь представить свою душу и иметь такую душу, которую бы стоило представить, вот то, что требуется от актера».

Формально критик принимает режиссерский театр, сочувствует режиссерским усилиям в создании цельного спектакля. В конкретных же рецензиях Яблоновский, подробно разобрав пьесу, бросив одну-две фразы по общей характеристике спектакля, поспешно переходит к разбору игры. Ансамбль для него – сочетание индивидуальностей, роль – способ проявлений индивидуальности и только яркость этого проявления – успех спектакля. Признавая удачей В. Э. Мейерхольда тонкую, строгую стилизацию в «Сестре Беатрисе» М. Метерлинка, Яблоновский неожиданно переворачивал «дифирамб» к режиссеру и В. Ф. Комиссаржевской: «Как будто так и нужно, как будто в этом и задача, но думалось, а что, если бы вдруг явилась тут Стрепетова? Не поняла бы она стиля, опрокинула бы всю гармонию <...> да открыла бы такие раны, такие муки, что забыли бы мы об эстетике, и мучались бы, и наслаждались бы».

Последовательным традиционалистом Яблоновский тоже не был, как не был и сторонником какого-либо одного направления в искусстве. Он признавал и необходимость обновления реализма на других, модернистских путях. «Театр <...>, – писал критик о Художественном театре, – сделав очень многое для утверждения реализма, теперь ищет новых путей в стороне символизма и схематизации». Постановку полюбившейся ему «Жизни человека» Л. Н. Андреева он принял только в Художественном театре, назвал ее «великолепной симфонией», созданной на основе мелодии из блоковского «Балаганчика», хотя сам спектакль Мейерхольда считал неудачей, «новацией ради новации».

В упоминавшейся уже книге «О театре» Яблоновский дает блистательные портреты М. Н. Ермоловой и В. Ф. Комиссаржевской.

Москва. Работа в «Русском слове»

В 1898 году Сергей Яблоновский женился на Елене Александровне Клементьевой. А в 1901 году его пригласили на должность редактора в «Русское слово», московскую газету, издававшуюся более чем в миллион экземпляров. Позже Яблоновский вспоминал: «Этот тираж превышал тираж всех русских газет, вместе взятых. Это значит, что в эти годы я ежедневно беседовал примерно с пятью – семью миллионами людей. Вел я общественный фельетон, театральный отдел, писал по вопросам искусства». Елена Александровна после свадьбы стала собирать публикации своего мужа и наклеивать их в альбомы. К 1915 году она подсчитала, что из них «...могло бы выйти двести девятнадцать томов ежемесячника формата и объема популярного тогда “Вестника Европы”».



С. Яблоновский «О театре», титульный лист

«Объясняется это тем, – писал С. Яблоновский, – что, кроме ежедневного фельетона в “Русском слове”, я часто помещал и критические статьи, посылая в то же время по две статьи

в неделю в две провинциальные газеты. Это я говорю не только о себе: так работают многие журналисты».



Редакция «Русского слова»

У Потресовых было пятеро детей. Старшая дочь умерла в раннем детстве от аппендицита, поэтому удалению отростка превентивно подверглись все дети. По воспоминаниям моего отца, семья жила в Москве, довольно часто меняя квартиры, причем дед любил дома в стиле модерн, нанимал, как правило, десять – двенадцать комнат, с прислугой, старшие до поры имели гувернеров, а младшие – бонн.



С. В. Яблоновский в кабинете, 1900-е годы

Несмотря на несметное число публикаций, постоянную работу в театре, Сергей Яблоновский руководил литературными «вторниками» Московского Художественного театра, участвовал в общественной жизни второй столицы, был членом Московского литературнохудожественного кружка, позже председательствовал в Обществе деятелей периодической печати и литературы. «Дело было в 1907 году, – вспоминал В. Ходасевич об одном из вечеров в Московском литературно-художественном кружке. – Одна приятельница моя где-то купила колоссальнейшую охапку желтых нарциссов, которых хватило на все ее вазы и вазочки, после чего остался еще целый букет. <...> Не успела она войти – кто-то у нее попросил цветок, потом другой, и еще до начала лекции человек 15 наших друзей оказались украшенными желтыми нар-

циссами. Так и расселись мы на эстраде, где места наши находились позади стола, за которым восседала комиссия. На ту беду докладчиком был Максимилиан Волошин, великий любитель и мастер бесить людей. <...> В тот вечер вздумалось ему читать на какую-то сугубо эротическую тему – о ббб объятиях или в этом роде. О докладе его мы заранее не имели ни малейшего представления. Каково же было наше удивление, когда из среды эпатированной публики восстал милейший, почтеннейший С. В. Яблоновский и объявил напрямик, что речь докладчика отвратительна всем, кроме лиц, имеющих дерзость открыто украшать себя знаками своего гнусного эротического сообщества. При этом оратор широким жестом указал на нас. Зал взревел от официального негодования». Убежденный реалист, Яблоновский не желал признавать новаторства в творчестве, считая это трюкачеством, попыткой привлечь внимание, подменной подлинного таланта. Футуристов он презрительно именовал «бурлюками и другими писателями». Отношения с ними были напряженные. В шестидесятые годы прошлого века дочь К. Бальмонта, Нина Бруни, вспоминала: «При мне Маяковский взбил на палитре белила и воскликнул: “А это – мозги Яблоновского!”».

По воспоминаниям Каменского: «Для привлечения внимания к нашему вечеру мы, зарисовав себе лица, пошли по Тверской и Кузнецкому. По дороге мы вслух читали стихи. Конечно, собралась толпа. Раздавались крики “циркачи, сумасшедшие”. В ответ мы показывали нашу афишу. Помогло нам еще то, что в день выступления в “Русском слове” появилась статья Яблоновского “Берегите карманы”, где он рекомендовал нас как мошенников. Публика, разумеется, захотела сама убедиться, как это футуристы будут чистить карманы, и аудитория была переполнена. За 10–15 минут до начала мы вспомнили, что неизвестно, собственно, что будет читать Маяковский, который очень хотел этого выступления, очень ждал его. Когда мы его спросили об этом, он ответил:

– Я буду кого-нибудь крыть.

– Ну что же. Вот хотя бы Яблоновского! <...> Возле здания Политехнического музея, перед началом, творилось небывалое: огромная безбилетная толпа молодежи осаждала штурмом входы. Усиленный наряд конной полиции водворял порядок...»

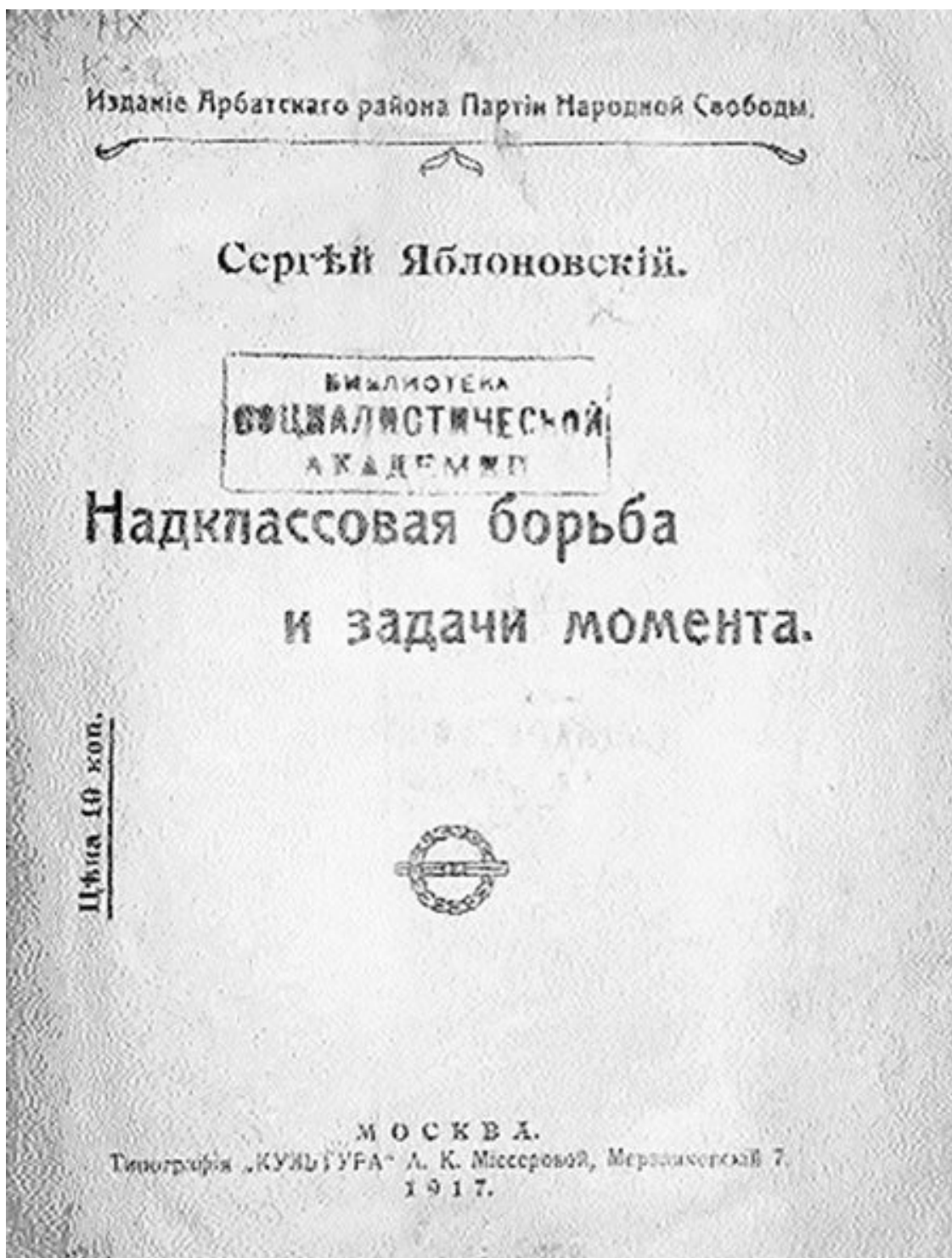
Много позже время расставило все по своим местам.



С. Яблоновский «Кто завоевал свободу», 1917

Как и большинство людей его круга, Яблоновский примкнул к партии Народной свободы. По семейным воспоминаниям, он не признавал революционных передраг, поэтому недоумение вызывает тезис, приведенный в упоминавшейся статье Веры Соминой, что «первую русскую революцию он приветствовал». Тем более, опыт был: в 1905 году Яблоновский был свидетелем, как сожгли типографию (фабрику) Сытина, где печатались книги для народного просвещения. Позже о драматизме этих событий Яблоновский писал в эмиграции. Хотя Яблоновский и написал «опыт народного гимна» на музыку композитора П. Н. Ренчицкого с посвящением «обновляющейся России», как всякий благоразумный человек, в революциях видел зло, когда одни прохиндеи заменяли других. «Без конца горд только тем, что никогда и ни в каких писаниях, и в этом гимне тоже, не было у меня ничего злобного и кровожадного». «Гимн» начинался словами:

«Благословен будь наш путь благородный,
К воле вперед и вперед.
Славься и крепни в России свободной,
Русский свободный народ!»



С. Яблоновский «Надклассовая борьба и задачи момента», 1917

В разного рода собраниях этот гимн исполняли не по три раза, как прежний, а например, как на заседании педагогического общества, исполненный великолепным басом Мозжухиным по требованию присутствующих девять раз. В связи с этим Яблоновский вспоминал трагикомическую ситуацию: когда он договорился о печати тиража «Гимна» за собственные средства на фабрике Мамонтова с ежемесячным погашением долга, к нему пришли «...на квартиру мамонтовские рабочие и потребовали, чтобы я уплатил следующее немедленно, иначе они от меня не уйдут. Я не помню, как вышел из этого положения, но помню суровые решительные лица моих гостей, сумрачно смотревшие и без слов говорившие, что мне объявлена война».

Кстати, в то время писался другой гимн, и автор его, известный нам Минский, включил в него совсем другие слова:

«Пролетарии всех стран, соединяйтесь,
Наша сила, наша воля, наша власть!
В бой последний как на праздник собирайтесь,
Кто не с нами – тот наш враг! Тот должен пасть!
Мир возникнет из развалин, из пожарищ...»

ну и так далее.

В своих политических убеждениях, равно как и в нравственных позициях, Яблоновский был подчеркнуто последователен, никогда не менял раз и навсегда выбранных ориентиров, что привело в дальнейшем к полному расхождению с некоторыми «братьями» по эмиграции, в том числе с Буниным. Василий Иванович Немирович-Данченко, одно время сотрудничавший с Яблоновским в «Русском слове», писал ему: «Вы всегда принадлежали к тем редким исключениям в литературе, которыми она справедливо может гордиться. Часто в безоглядном увлечении ею, Вы ни разу не омрачили своего духовного облика ни нравственным, ни политическим диссонансом. Вы никому и ничему не подслуживались. В капищах Ваала Ваших жертв не было».

Уделяя массу времени профессиональной работе, общественной и партийной деятельности, Сергей Яблоновский занимался воспитанием детей, помогал гимназии Кирпичниковой на Знаменке, где учился его сын, Александр Потресов. Сын Василия Качалова, Вадим Шверубович, вспоминал, как в рождественском (1916 г.) гимназическом спектакле ему была поручена роль Бориса Годунова. Учительница русского языка приходила в отчаяние от игры сына известного актера и «позвала на помощь отца моего одноклассника, очень известного в то время театрального критика “Русского слова”, писателя-очеркиста и знатока театра Сергея Викторовича Яблоновского (Потресова). Он попробовал поработать со мной, объяснял мне смысл каждой фразы, каждого слова».

Яблоновский учил детей воспринимать русскую культуру, классическое изобразительное искусство, литературу, природу, зодчество. Летом он нанимал дачу неподалеку от подмосковного Архангельского, имения Юсуповых. Сюда в частые отсутствия хозяина имелся свободный доступ, и Сергей Викторович пользовался этой возможностью, чтобы приучать детей к восприятию предметов искусства, тщательно собранных в этой усадьбе.

Унаследовав от отца-юриста ораторские способности, Сергей Яблоновский темпераментно и эмоционально умел подчинять аудиторию. Сегодня слово «лектор» вызывает унылые ассоциации, а в начале прошлого века люди тянулись на диспуты, неизбежно сопутствовавшие актуальным лекциям. Яблоновский в том числе разъезжал по России с лекциями, направленными против волны юношеских самоубийств, захлестнувших страну в начале XX века.

Помимо «Русского слова» и южнорусских провинциальных газет рецензии и статьи Яблоновского печатались в журналах «Театр и искусство», «Рампа и жизнь», «Кулисы».



С. Яблоновский с семьей, Москва, ок. 1916

Революция. Встречи с Романовыми. Приговор ЧК

О первых месяцах после октябрьского переворота Яблоновский писал почти десять лет спустя: «Порассказать, конечно, было о чем. Переживавшееся тогда время характеризовалось

полной неопределенностью дозволенного и запрещенного: еще на митингах можно было произносить страстные речи против большевиков, но все и каждую минуту находились в ожидании всяких расправ, за какую угодно вину и безо всякой вины. Еще продолжали выходить прежние “буржуазные” газеты, но на них уже обрушился целый ряд кар. Чуть ли не наибольшая в Европе типография Сытина, где печаталось до этого времени “Русское слово”, была реквизирована. Большевики печатали там свои “Известия” на огромных запасах чужой бумаги, которую они, расходуя, в то же время заложили в банке за два с половиною миллиона. “Русские ведомости” – газета, которую никогда не решалось тронуть даже самодержавное правительство, считаясь с исключительным уважением, которое она завоевала в стране, – были закрыты и, после больших усилий, возродились под пикантным названием “Свободные вести” (за точность названия не ручаюсь, но ручаюсь за его смысл. – С. В. Я.). Еще функционировали политические партии, но чуть не ежедневно на них совершались набеги, происходили обыски, аресты, высылки, расстрелы. Террор еще не был возведен в стройную последовательную систему, но постоянно проявлялся, и все чувствовали себя в положении попавшего в капкан животного: вот-вот явятся и расправятся. Повсеместное ожидание ужасов создавало в населении тупую, оскорбительную покорность».

За исключением ряда шероховатостей, октябрьский переворот, пока за трактовку его истории не взялись большевистские идеологи, некоторое время страдал известной «бархатностью»: оппонентов еще не сажали и не убивали, хотя вскоре все изменилось.

В Перми, где он встретился с Великим князем Михаилом Александровичем Романовым, Яблоновский оказался летом 1918 года. По заданию партии Народной свободы он читал в городах Сибири публичные лекции, в которых наивно, как показали скорые события, пытался словом привлечь сторонников к своей партии. Однако события развивались стремительно: «А в мое отсутствие у меня был произведен обыск и выемка, на которые я совершенно не рассчитывал: своих взглядов я не только не скрывал, но всячески старался открыто распространять их: писал статьи, выступал с публичным словом. <...>

Обыск я могу приписать только личной мстительности большевиков: чуть ли не накануне его под моим председательством прошло общее собрание Московского общества деятелей периодической печати и литературы, на котором мы исключили из состава общества неистовствовавшего над прессой комиссара по делам печати Подбельского (бывшего хроникера “Русского слова”), исключили точно так же комиссара по иностранным делам профессора Фриче и поставили на вид поэту Валерию Брюсову всю двусмысленность его положения на службе у большевиков в качестве – в то время – аполитичного регистратора выходящих в свет книг и журналов.

Свидетели обыска мне передавали, что записную книжку исследовали очень долго».

Умалчивает Яблоновский и еще об одной вещи, за которую екатеринбургская ЧК заочно приговорила его к расстрелу. Он говорит вскользь о поездке в Екатеринбург накануне трагических событий, когда в доме инженера Ипатьева находились Николай II со всей семьей. Семейные намеки на участие деда в заговоре в Екатеринбурге с целью вызволения Николая II я слышал еще в детстве. Возможно, я не располагаю полным перечнем трудов Яблоновского, но мне нигде не попадались его записи, в которых бы он опровергал или подтверждал факт участия в этом заговоре. Писатель Эдвард Радзинский, видимо поврежденный творческой завистью к произведениям «историков» типа Александра Дюма или Валентина Пикуля, пишет об этом так: «... И вот, когда я сам устал от своей подозрительности <относительно того, был заговор с участием Потресова-Яблоновского или нет. – В. П.>, однажды позвонил телефон, и тихий старческий голос церемонно представился: “Владимир Сергеевич Потресов, провел 19 лет в лагерях”.

Вот что рассказал мне 82-летний Владимир Сергеевич: «Мой отец до революции – член кадетской партии и сотрудник знаменитой газеты “Русское слово”, известный театральный кри-

тик, писавший под псевдонимом Сергей Яблоновский... <...> // В голодном 1918 году отец выехал в турне по Сибири с лекциями. Весь сбор от лекций моего полуголодного отца шел в пользу... голодающих! Последняя его лекция была в Екатеринбурге... // И вскоре во время отсутствия отца к нам в дом пришли чекисты и произвели обыск. Матери объявили, что екатеринбургская ЧК заочно приговорила отца к расстрелу за участие в заговоре с целью освобождения Николая II. // Когда отец вернулся домой и все узнал, он был страшно возмущен: «Да что они там, помешались? Я по своим убеждениям (он был кадет, сторонник Февральской революции) не могу быть участником царского заговора. Я пойду к Крыленко (тогдашний председатель Верховного трибунала)!» // Отец был типичный чеховский интеллигент-идеалист. Но мать сумела его убедить, что большевики объяснений не слушают – они расстреливают... И отец согласился уехать из Москвы, он перебрался к белым. Потом эмиграция, Париж, нищета – и могила на кладбище для бедных... // Меня арестовали в 1937 году за участие отца в заговоре, о котором тот не имел никакого понятия. Вышел я только в 1956-м»⁵. Оставив в стороне театральный прием: звонок, возникший по мановению в минуту «усталости» автора, «церемонный голос» и прочие атрибуты плохой пьесы, отмечу определенное лукавство писателя. В 1918 году Владимиру Сергеевичу Потресову было всего восемь лет, и трудно поверить, что взрослые обсуждали с ним или при нем участие деда в заговоре или планировали поход к Крыленко. Гайки тогда закручивались с завидной скоростью. Вернее всего, это версия для маленьких детей, чтобы те не пострадали в условиях обосновывавшегося режима. Утверждение о том, что кадеты не могли быть сторонниками царского режима, весьма спорно. Не выдерживает критики сравнение Яблоновского с «типичным чеховским интеллигентом-идеалистом»: достаточно прочесть его острые, полемические статьи и, главным образом, написанные как раз в то тревожное время. Абсурдом представляется, будто бы «...мать сумела его убедить, что большевики объяснений не слушают – они расстреливают». Мне трудно допустить, что для видного публициста и политика, которым был тогда дед, решающим оказалось слово жены, милой и образованной женщины, однако занятой только домашним хозяйством и детьми.

И наконец, В. С. Потресова арестовали вовсе не за участие деда в заговоре – этому могли бы быть, скорее, подвергнуты старшие дети. Более того, побывав там, он никак не рискнул бы назвать известное русское кладбище в парижском пригороде Сен-Женевьев-де-Буа «кладбищем для бедных». Сын В. С. Потресова, вспоминая тот разговор отца с писателем, отмечает, что он был несколько другим, так что доверять Радзинскому я бы не стал. Полагаю, что, находясь в Париже, Яблоновский никогда не касался тем, связанных с Ипатьевским домом, потому что боялся навредить родным, оставшимся на родине. Но все это, повторяю, лишь версия. Впрочем, и доказательств того, что Яблоновский участвовал в том заговоре, у меня нет, а есть лишь некоторые соображения, но оставим эту тему.

⁵ Радзинский Эдв. Николай II: жизнь и смерть. М., 1997.



С.В. Яблоновский, 1918. Рисунок неизвестного

Яблоновский сбрил бороду и с чужим паспортом на имя Ленчицкого вместе с семьей (старший сын Яблоновского, мой отец, Александр Потресов в это время находился в Сибири, и родным о его судьбе ничего не было известно) уехал на юг России, в Харьков, где примкнул к Белому движению:

«Бежав от власти большевистской
И от милиции московской,
Исчез немедленно Ленчицкий
И появился Яблоновский».

– воспроизводил горький юмор тех лет 20 декабря 1953 года в своем некрологе деду в «Новом русском слове» Петр Ершов.

Бег

Меня часто спрашивают, почему Яблоновский бежал за границу, оставив семью на произвол большевикам. Это не так. Во-первых, его жена Елена Александровна отказалась следовать за мужем в Ростов, поскольку в Харькове дети заболели и бежать с ними дальше на юг не было возможности, а кроме того, Яблоновский, как и многие его современники, был уверен, что власть большевиков – недоразумение, которое долго не продержится.

Впрочем, откроем дневник Яблоновского: «Четверг, 3.VI 20 г. <Тель-эль-Кебир> Сегодня Лелины <Елена Александровна Потресова, жена С. Яблоновского. – В. П.> именины. Как-то поживает моя Леся? <...> Я сижу у себя в палатке и весь мыслями с нашими. Где они? – В Ростове? Харькове? Москве? Вернулся ли к ним Шура? Это оч<ень> возможно. Помимо себя, помимо самого Шуры, как я был бы счастлив за Лелю. <...>

31. XII <1920>. Париж

<...> Моя тоска по своим, по Леле, Соне, Шуре, Вове и Ноне растет все время, растет с каждым днем. <...> Милые, родные, любимые, где вы? Живы ли? Здоровы ли? Если не сыто – где уж?! – то хоть перебиваетесь ли как-нибудь?

Леля, родная! Деточки мои милые! Хоть бы узнать только, что вы существуете».



Удостоверение С. В. Яблоновского, 1919

В течение почти двух лет, проведенных С. В. Яблоновским на юге России, ему довелось работать отчасти в тех же самых газетах, в которых трудился в юности. Кроме того, по поручению отдела пропаганды Добровольческой армии, он читал лекции против большевиков в Харькове, Ростове-на-Дону, Новороссийске и других городах Юга России. Его предчувствие краха прослеживается в статьях «Перед портретом», где писал, как в чертах портрета Деникина, выставленного в витрине на Серебряковской улице Новороссийска, автор видел приметы того, что сохранилось в России честного и порядочного; «У грани» – паника, падение духа войск, в дневниковых записях того времени.



С. В. Яблоновский, пароход «Саратов», 1920

С грустным юмором Сергей Яблоновский позже описал последнюю встречу с Мариэттой Шагинян, произошедшую в Ростове-на-Дону, накануне вступления большевиков: «В Нахичевани же произошла и моя последняя с нею встреча, уже в девятнадцатом году, когда я бежал из города в город, по мере того как их занимали большевики. Здесь я нашел и Мариэтту, и ее сестру Лину (Магдалину); обе, и неистовая Мариэтта, и красивая, мягкая, необыкновенно нежная Лина, были уже пропитаны большевизмом. Тут впервые ощутилось полное, бесповоротное расхождение. С моей стороны было много резкого, отношение сестер было мягкое, грустно-ласковое. Разумеется, в то время большевизм им представлялся высшей справедливостью, а кровь, насилие, разрушение, вероятно, они считали временной печальной необходимостью. Большевики входили в Ростов, мне нужно было бежать. Мариэтта со своей обычной порывистостью уговаривала остаться: она меня спрячет.

– Какое же вы имеете право прятать врага от своих друзей? Этого лицепрятия я не признаю да и сам не хочу принимать ничего ни от ваших новых товарищей, ни от вас.

Мы расставались, и получилась даже смешная сцена: мне долго пришлось буквально отбиваться, чуть ли не руками и ногами, от ее желания обнять и поцеловать меня.

Объятий избежал».

Двадцать второго февраля 1920 года Сергей Яблоновский в Новороссийске поднялся на борт парохода «Саратов», чтобы навсегда покинуть Россию.

О последних днях в России, ужасах бегства, издевательствах англичан-спасителей, крайне тяжелых условиях жизни в лагере Тель-эль-Кебир в Северной Африке за колючей проволокой, надеждах на крах большевизма Яблоновский написал в эссе «Из беженских скитаний».

Страсть к общественной деятельности в Тель-эль-Кебire Яблоновский удовлетворял тем, что в жутких условиях создал с единомышленниками гимназию для детей беженцев, где преподавал русский язык и историю, а также был попечителем учебного заведения. Но к середине 1920 года многие беженцы разъехались, лагерь опустел. Летом Яблоновский получил письмо от А. Н. Толстого:

«17 июня 1920 г.

Дорогой Сергей Викторович,

Посылаю Вам приглашение Романа Абрамовича Кривицкого в личные секретари. Р. А. Кривицкий – чрезвычайно богатый человек, и по его письму Вам немедленно выдадут визу в Париж. При этом прилагаю копию письма министру. Вслед за этим письмом высылаю Вам 500 франков. Вторые 500 фран<ков> Вам переданы будут в Париже. Приглашение, само собой разумеется, нужно рассматривать исключительно как возможность получения визы.

Очень рад буду видеть Вас в Париже и помочь Вам всем, чем могу.

Крепко жму руку.

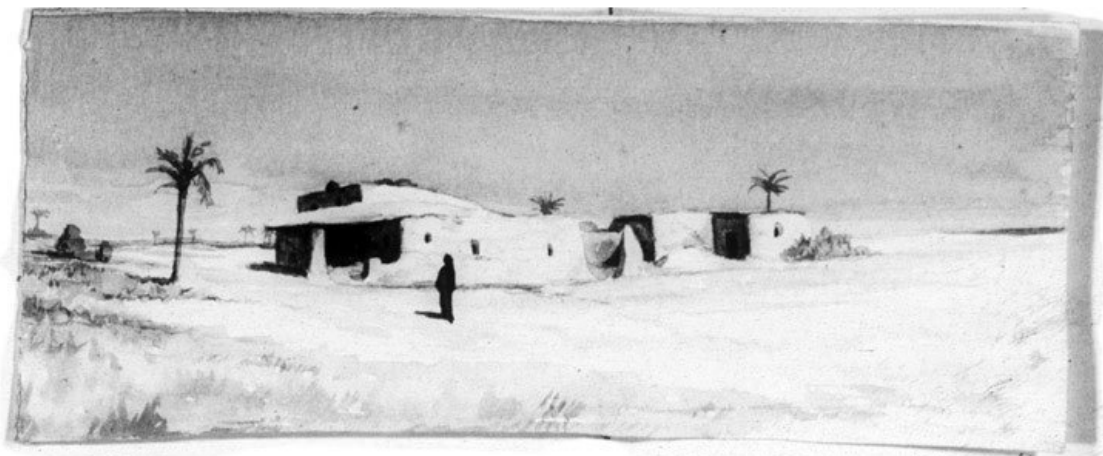
Гр. Алексей Н. Толстой. 48 Rue Raynouard Paris XVI».

Однако с визой все складывалось непросто. 5 октября 1920 года Яблоновский писал Бунину: «<...> Толстой сообщил, что мне высланы деньги на дорогу в Париж, что он постарается подыскать мне работу и что его знакомый, Р. А. Кривицкий, хлопочет перед французским министром иностр<анных> дел о разрешении мне въезда во Францию. Затем я получил и деньги, и разрешение; ликовал, готовился к отъезду, но вдруг пришел из Парижа контрордер, отменяющий уже данное разрешение. <...> Я написал гр. Толстому в начале августа, потом в начале сентября, прося выяснить это, но мои письма точно падают в яму – никакого ответа. Писал я и Кривицкому, но с тем же успехом». Однако в конце концов виза была получена, и в день его пятидесятилетия русская колония лагеря Тель-эль-Кебир провожала Сергея Яблоновского в Париж. Так для него навсегда закончились жизнь в России и беженские скитания.

«Страшнейшая казнь писателю быть принудительно вне родного...»⁶

Период эмиграции для Яблоновского затянулся на долгие десятилетия, в течение которых катастрофически менялась как общая политическая обстановка в мире и Европе, так и жизнь во Франции, которая навсегда стала, как нынче не совсем верно говорится, второй родиной Сергея Викторовича.

⁶ Строка из письма И. С. Шмелева С. В. Яблоновскому, 22.11.33, Капбретон. BAR, Coll. Potresov, Box 1.



Тель-эль-Кебир, 1920 год. Рисунок Е. Н. Конопацкого

Мне не удалось обнаружить сколько-нибудь подробных воспоминаний о жизни деда во Франции, отрывочные сведения основаны на известных, тем или иным путем зафиксированных событиях, а также его собственных публикациях или рукописях и семейных преданиях. Неясно также, каким образом удалось решить проблему с контрордером, сыграл ли тут какую-то роль Бунин, или все как-то разрешилось другим путем, однако уже в конце 1920 года Яблоновский оказался в Париже. Это следует из дневниковых записей литератора, опубликованных в этом сборнике.

В начале двадцатых годов в Париже, затем берлинских эмигрантских изданиях появляется имя Яблоновского-журналиста. С той же страстью, как обличал недостатки жизни в России, журналист обрушивается на беспорядки как в эмигрантской среде, так и во Франции, обращая внимание на прорехи в либеральном строе, который весь последний век ставился в пример России. В частности, он пишет о фактически бесправном положении женщины в обществе, разгуле полицейского произвола, лености французов и т. п.



Заграничный паспорт С. В. Потресо́ва (Яблоновского), 1920

Не одобрял С. В. Яблоновский и французских писателей, в том числе Анатоля Франса, Ромена Роллана и других, выступавших за прекращение интервенции: «Вы более чем умыли руки; вы все время поддерживали тех, кто виртуозно плавает в созданном океане крови. Своим именем, своим авторитетом, тою ответственностью, какую налагает избранность, вы помогли и помогаете убийствам без конца и без счета».

Начиная с 1921 года Яблоновский регулярно печатает фельетоны в газете «Общее дело», в них убеждает всех мыслящих людей в необходимости продолжения борьбы: «Ненависть необходима, ненависть к злу, ненависть к демагогии, ненависть к той ненависти, которую про-

явили экспериментаторы ко всем человеческим ценностям. Ненависть к ненависти, которую они насаждали в человеческих душах».

Одновременно С. В. Яблоновский преподавал в лицеях и французских школах русский язык, в том числе в 1932–1933 годах в известном лицее *Buffon*, сокрушаясь, что дети российских эмигрантов забывают родную речь, и в многочисленных публикациях приводил соображения о причине этого явления.

Позже, в соавторстве с Вл. Бучиком, С. Яблоновский выпустил книгу «*Pour bien savoir le russe*», которую можно вольно перевести как «Для правильного понимания русских». В рецензии, подписанной неким господином Г., в берлинском «Руле» сообщается, что эта книга, переведенная здесь как «Россия и русские», «...выпущенная в свет известным французским издательством, предназначается, собственно говоря, для французского читателя, уже знакомого с русским языком. Собранные здесь отрывки из произведений крупнейших русских писателей должны помочь окончательно освоить русский язык и вместе с тем познакомить с природой России, ее верованиями, бытом и характером народа. Эта задача выполнена составителями настолько удачно, отрывки подобраны так тщательно и умело, что книга доставит огромное удовольствие и русскому читателю, возбуждая и в старых, и в молодых сладкое, но далекое, теряющее уже в своей ясности воспоминание. Эта книга, как справедливо говорят составители предисловия, приближает дорогой и любимый образ родины. Помимо отрывков, в книге напечатан и ряд статей и заметок, дополняющих или объясняющих художественные образцы. Отрывки взяты не только из сочинений наших великих классиков, но и талантливых современников Алданова, Бунина, Зайцева, Куприна и др.». Найти экземпляр этой хрестоматии мне пока не представилось возможным, но удалось точно определить время выхода ее в свет – август 1930 года, по дате письма И. С. Шмелева к С. В. Яблоновскому, где Иван Сергеевич поздравляет деда с появлением этой книги.

Верный политическим убеждениям, Яблоновский с 1921 года состоял членом Парижского комитета Партии народной свободы, выступал с лекциями и докладами в Русской академической группе, Союзе русских литераторов и журналистов в Париже, членом которого состоял, сотрудничал в Русском литературноартистическом кружке. С 1922 года выступал в Тургеневском артистическом обществе, Русском народном университете. С момента ее образования в 1923 году был членом комитета Лиги борьбы с антисемитизмом в Париже. В 1933 году редактировал в Париже издание Содружества «Восход», с того же года член Союза деятелей русского искусства, сотрудничал с Московским землячеством, с Юношеским клубом РСХД⁷.

⁷ Основано в октябре 1923 г. в местечке Пшеров близ Праги, где состоялся учредительный съезд, который положил начало действительному движению среди русской эмигрантской молодежи.

65

Дорогой Сергей Викторович,
какой-то поэт однажды сказал:
Какое самооблагатие
У людей просто звание,
Не обращающих внимания
На трудности существования!

Дорогой Сергей Викторович,
будешь подражать званью ло-
тагею?

Ив. Тютин

Париж,
Петров день
— 1921 г.

Пожелание И. А. Бунина в альбоме С. Яблоновского, 1921

21 июня 1928 года С. В. Яблоновский посвящен в ложу Юпитер (№ 536 в союзе Великой ложи Франции), инсталлированную в Париже в конце 1926 года после раскола ложи Золотое Руно. Юпитер в названии ложи символизировал Разум, проявленный в действии. Работала ложа по Древнему и Принятому Шотландскому Уставу в русском масонском доме на улице Иветт. Позже дед возведен во 2-ю и 3-ю степени. Примерно в эти годы произошло еще одно загадочное событие, известное мне из семейных преданий, но о котором не удалось найти каких-либо следов в архиве С. В. Яблоновского, за исключением косвенного указания, обнару-

женного в письме И. С. Шмелева. Речь идет о приезде в Париж младшего сына Яблоновского, упоминавшегося моего родного дяди, Владимира Сергеевича Потресова. Вот тут я столкнулся с разночтениями.

Мой отец рассказывал (уже во времена Н. С. Хрущева), что его брат Владимир Сергеевич, как примерный комсомолец, в конце двадцатых – начале тридцатых годов был направлен на лечение в Италию (!). Пробираясь туда на поезде через всю Европу, он оказался в Париже, где встретился со своим отцом, с которым, мол, у него вышли разногласия политического характера, сделавшие их дальнейшие общения невозможными. Иное рассказал мне сын В. С. Потресова, Вадим Владимирович: «Отец уехал в Париж и жил у деда примерно с 1922 по 1924 год; сам он рассказывал об этом неохотно, ссылаясь на то, что подвергался постоянным насмешкам и унижениям со стороны нашего деда, поэтому и вернулся обратно в СССР». Странно, что, рассказывая Радзинскому о том, что пострадал «как сын Яблоновского», В. С. Потресов умалчивает о парижских встречах с отцом. Некоторый «документальный» свет на это событие проливают строки из письма И. С. Шмелева к С. В. Яблоновскому 22 января 1926 года: «Дорогой Сергей Викторович, // Во-первых, поздравляю с радостью – возвращением и воскресением Вашего сына. Я понимаю, какое это счастье». И заканчивает письмо постскриптумом: «Поцелуйте за меня “возвращенца”». Пока это единственное известное мне документальное подтверждение пребывания В. С. Потресова в Париже. Позже, в годы репрессий, он был осужден (согласно приведенной выше ссылке на Радзинского, в связи с участием С. В. Яблоновского в заговоре по освобождению императора и его семьи, однако, повторю, о парижском его проживании нет ни слова).

18 мая 1928 года русский Париж отметил 35-летие литературной деятельности Яблоновского. Председательствовал в комитете по организации чествования И. А. Бунин, а на банкете – Н. А. Тэффи. С речами выступали Б. К. Зайцев, Е. Н. Рощина-Инсарова, А. В. Карташов, С. П. Мельгунов, М. А. Осоргин, поэты А. П. Ладинский, Ю. В. Мандельштам, С. И. Левин и другие. Юбиляр получил множество поздравительных писем со всех концов земли.

В двадцатые – тридцатые годы XX столетия публикации С. В. Яблоновского регулярно появлялись в русскоязычных периодических изданиях во Франции, Германии, США, Румынии, Китае и других странах, куда судьба разбросала соотечественников.

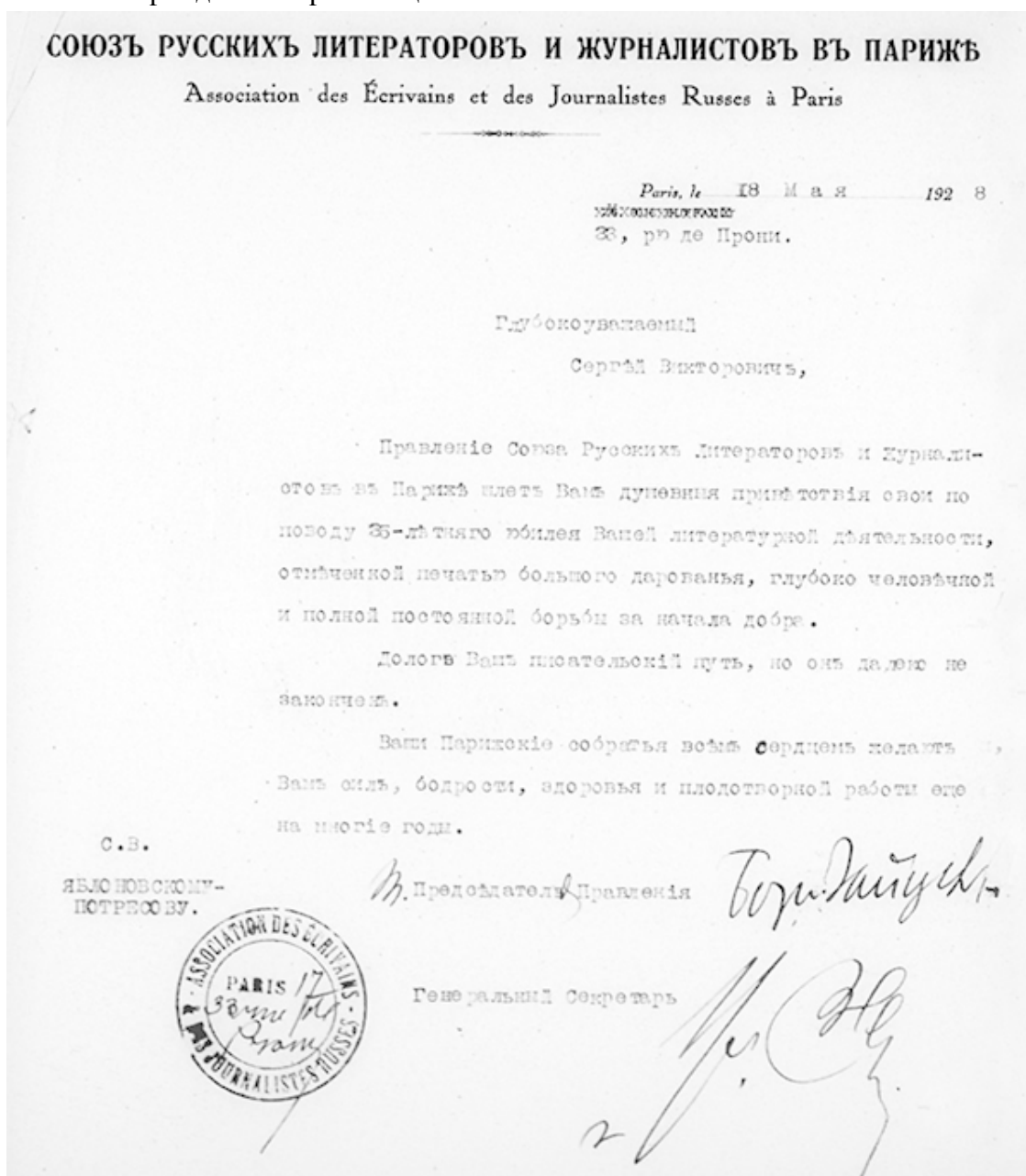
Многочисленные ныне материалы, посвященные жизни русских эмигрантов во Франции, наглядно показывают, как менялось к ним отношение приютившей стороны. Если в двадцатые годы прошлого века разбогатевшая в результате Версальского мира страна со снисходительным романтизмом любопытствовала в отношении русской культуры и интересовалась жизнью изгнанников, представителей этой культуры, то уже в тридцатые интерес к ним упал. Связано это прежде всего с тем, что деловые и политические круги все более были заинтересованы в связях с СССР, а эмигранты становились досадной помехой, вызывающей раздражение советских вождей и, как следствие, сотрудничающих с ними кругами принявшей стороны. Но было и нечто другое: представьте, к вам приехал даже очень интересный гость, с которым хочется общаться, узнать о нем побольше. Но вот гость прижился, и вы все яснее чувствуете дискомфорт. Французам поначалу была интересна самобытная русская культура, привнесенная эмигрантами, но за годы изгнания они, что называется, приелись, а большинство из них и вовсе утратили признаки той русской культуры.

К концу тридцатых годов намечается естественная убыль в среде русских эмигрантов, однако сокращается и социальная поддержка оставшейся части. С. В. Яблоновский с горечью писал, как молодые люди, вывезенные в детстве из России, а в особенности появившиеся на свет в русских семьях во Франции, теряют интерес как к культуре предков, так и вовсе к русскому языку.

Одновременно и реалистически мыслящие эмигранты окончательно оставляют надежду на возвращение в Россию: «А здесь снова, – пишет в 1937 году С. В. Яблоновский, – готовы задавать и задают сделавшийся уже постыдным вопрос:

– Сколько еще времени?..

Вопрос, заставляющий бросаться в лицо краску стыда, потому что больше попадать пальцем в небо, чем мы попадали, пророчествуя на эту тему, невозможно. Вспоминаются три факта. В конце, кажется, восемнадцатого года, бежав уже из Москвы на Украину, я, читая публичные лекции, попал в Бахмут, родной город П. И. Новгородцева, профессора, одного из основоположников кадетской партии, выдающегося общественного и политического деятеля и прекрасного человека. Тогда намечалась какая-то интервенция, и Новгородцев сказал мне: “Помяните мое слово: в первый день Рождества мы встретимся с вами в Москве”. Первый день Рождества – это значило через два или три месяца.



Поздравление Союза русских литераторов и журналистов в Париже, 1928

Очень скоро после этой встречи мне пришлось бежать и из Малороссии в Одессу. В первый день, как раз в первый день Рождества, подхожу я к одесскому вокзалу и вижу, как по ступенькам его спускается П. И. Новгородцев.

– Павел Иванович! С какой точностью вы определили день, в который мы с вами встретимся!

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.